МАРК ХАРИТОНОВ

КОНВЕЙЕР

ImWerdenVerlag
München
2012

© Марк Харитонов, 2012
© ImWerdenVerlag, 2012

Вода шумно спущена, бачок с ленивым журчанием начинает заполняться снова. Надо бы отрегулировать, так слабо течет, так медленно.

Вот твое нынешнее состояние, — кривовато усмехаешься сам себе. Закончена работа, испытано недолгое удовлетворение. Справился, сделал дело, отправил написанное куда положено. Ждите анализа. Тем временем, глядишь, накапает что-то новое. А пока можно отдохнуть, отоспаться. Разобрать накопившиеся житейские завалы, почитать отложенные книги. Да вроде уже и отдохнул, сонливость больше одолевает во время чтения — где-то на третьей-четвертой странице, где автор, может, как раз собирался тебя заинтриговать. Откладываешь книгу, подавляя смущенный зевок, как человек, не оправдавший ожиданий — своих прежде всего — а спать тут же оказывается неохота. О житейских делах нечего говорить, их не переделаешь никогда. Только починишь стул — испортилась новенькая кофемолка. Ладно, можно некоторое время покупать молотый. Хотя это дороже. И вкус вроде не тот. Во всем не тот вкус, вот ведь оно что. Какое-то промежуточное, неуютное, черт побери, ощущение — как его назвать? Опустошенностью, выпотрошенностью? Тоскует ли вьючная лошадь, оставшись без привычной поклажи?

Ну, чего уж тут, дело, как говорится, известное. Только что человек вышел на пенсию, встает утром без будильника ровно в семь, а ехать никуда не надо. Сколько лет думал: вот будет радость. Не надо вылезать под дождь, на мороз, спешить, толкаться в автобусе, выполнять обязанности — живи в свое удовольствие. Нет, с удовольствием почему-то не у всех получается. И не о том речь, что на жизнь стало не хватать,

это тема другая. Во дворе со мной на днях заговорил сосед-пенсионер — отошел от мусорных ящиков, где ковыряла палкой пожилая, интеллигентного вида женщина.

— Я думал, она пустые бутылки ищет, чтоб сдать, — поделился он впечатлением. — Смотрю, достает куски хлеба, горбушки выброшенные. Подождите, говорю, я вам сейчас хорошего вынесу. Смутилась, что я ее за таким делом застал. Спасибо, говорит, это я на дачу, курам.

Качнул головой, что-то с усмешкой оценивая: правдоподобие ли ее слов, свое ли очевидное преимущество. У него, как я мог понять, с этим было в порядке; не тот был случай, чтобы посокрушаться еще раз на темы унижающей нынешней нищеты. Участок у него тоже имелся, шесть соток, но он туда совсем не ездил. Там дети обосновались, битком набито. Не кур же разводить. И в земле копаться как-то не приучился, вот о чем вдруг захотелось сказать...

Понятно бывает это желание выговорить что-то накопившееся перед человеком, в сущности, незнакомым — все равно что в пространство. Раз уж возник в этом пространстве неважно чей, но все-таки воспринимающий слух. Соседей в современных многоквартирных домах знаешь ведь не более чем зрительно. Встретившись у подъезда, поздороваетесь, конечно, попутным словечком вежливо перемолвитесь. Где брали такие помидоры? Почем? Глупейшее занудство всерьез отвечать при встрече на формальный вопрос «Как поживаете?» Разумные англичане придумали отвечать на вопрос вопросом. «How do you do?» — «How do you do?» Приветственный звуковой сигнал, взаимная демонстрация неопасных, неагрессивных зубов, не более. Имитация интереса, нейтрализующая интерес. Но если говорить тянет не занудство, а, может, какая-то тоска, что ли? Мне самому, наверно, не стоило вставлять слова сочувственного понимания, спрашивать его о прежней работе: мол, интересное что-то было?

Похоже, тут он ощутил угрозу без надобности серьезного разговора. На миг замялся.

— Обычная была работа, — пожал неопределенно плечами. — Конвейер, — добавил зачем-то — как бы для самого себя.

И, буркнув неопределенно прощальное междометие, отошел от меня — словно внезапно вспомнил, куда ему было нужно.

Неловкость почудилась в этом поспешном уходе. Точно я ненужным вопросом заставил его смутиться, допустил непонятную бестактность. Ну, тут скорей были уже мои домыслы. Может, у него просто вдруг прихватило живот? Не я же заводил разговор. И чего такого особенного было сказано? Конвейер так конвейер...

Вспомнилось: в студенческие годы я подрабатывал недолгое время на телевидении, готовил сюжеты для редакции тогдашних промышленных новостей. На заводе «Каучук» мне показали одного из заслуженных ветеранов: женщину, которая посыпала тальком тянувшуюся перед ней бесконечную каучуковую ленту — эскалаторные поручни. Она оказалась приставлена к этой ленте еще до войны, через ее руки протянулись все (действительно все, подумать только!) поручни московского метрополитена. О другом ветеране мне только рассказали, он прежде обслуживал вулканизационную камеру, где серные пары превращали каучук в эластичную резину. К тому времени он уже вышел на пенсию, но то и дело наведывался к своей камере, когда она остывала после проделанной работы, забирался полураздетый внутрь и некоторое время кейфовал там. Дышал родным воздухом. Серные пары, по его словам (представит ли себе кто этот запах?), действовали на организм лучше целебных ванн, не нужен ему был никакой серноводский курорт. И действительно, подтверждали мне, его до сих пор время от времени поколачивали за попытки прилаживаться к чужим бабам. По тем временам даже предлагать телевидению такие сюжеты было дохлым номером, да я, если припомнить честно, не особенно и старался. Мозг, настроенный на заработок, (за сюжет платили, кажется, рублей двадцать-тридцать), привык зря не тратиться на то, что было заранее не положено. Заинтересо-

вала бы подобная идея нынешнее телевидение? Вряд ли. Там опять другой бизнес. С журналистскими заработками, как вскоре выяснилось, у меня вообще не могло получиться — и слава Богу! Женщину я поздней вывел в одном рассказе — эпизодический персонаж, не более. Много ли я мог о ней знать? Плаксивая замученная старушка ищет случая напомнить с гордостью о своих давних заслугах. Слушатели прячут усмешку, спешат от нее отделаться...

При мысли о конвейере, конечно же, вспоминается Чарли Чаплин: как он ритмично, однообразно, потом уже по инерции подкручивает что подвернется чудовищным гаечным ключом. Жалко смешного маленького человека. Во всяком случае когда его так трогательно показывают на экране. В жизни конвейерную повседневность терпишь, не замечая. На производстве сложнейшие манипуляции все больше стараются передавать автоматам. Мясные туши разделывают, допустим, вручную, но тоже ведь на конвейере. Проплывают на крюках мимо могучих работников с ножами. Даже для глазных операций ухитрились приспособить что-то вроде конвейера. Объекты перемещаются на креслах-лежаках от одного оператора к другому, все, разумеется, разные, то есть не вполне стандартные, люди все-таки, в этом особая сложность, да еще хрусталик в глазу совсем крохотный, автомату не поручишь. Какая тут требуется сосредоточенность, какое мастерство! Радость точно отработанного определенного движения, день ото дня все совершеннее. На посторонние мысли не отвлечешься — но разве это не благо? Работа может быть какой угодно, скучаешь потом не по ней, а по этому затягивающему состоянию. Оно оказывается потребностью, как наркотик, как водка. Трудоголик — тоже ведь появилось слово. «Есть блуд труда, и он у нас в крови», как гениально выразился поэт. Невыносимым оказывается опустевшее время...

Сцепляются одна с другой мысли, а далеко уйти не дают, возвращаешься, как собака на пружинистом поводке, все

к тому же — опять своему. Мы что-то стараемся понять в себе через других, и других понимаем через себя. В каком-то, помнится, фильме удачливые грабители после чудовищных перестрелок, обильно кровоточащих ран, смерти соратников (гибель преследователей-полицейских в таких делах, естественно, вообще не в счет) — после всех этих испытаний, потрясений и жертв получают возможность насладиться, наконец, вожделенным финальным блаженством. Растянувшись в шезлонгах на живописном морском берегу, они потягивают из запотевших высоких стаканов освежающую, пьянящую жидкость (дать бы еще покрупней рекламное обозначение фирмы). Ну, и, конечно, загорелые гурии тут же — для полноты антуража. Я смотрел на них в курортном кинотеатре, только что уйдя с такого же берега — можно считать, почти с такого же. Значит, ради этого стоило все вытерпеть? На зависть сидевшим в зале, эти расслабленные гангстеры не просто заполучили что-то, другим недоступное. Они могли больше ни о чем не заботиться, кейфовать вот так до конца дней. Полиция их уже не настигнет, никто не разоблачит, денег с избытком хватит...

После кино я сидел в парке. На скамейке рядом присоседились сотрудницы местной биостанции, обсуждали, у кого в каком месяце будет отпуск, что было сегодня в магазине, когда назначена защита диссертации. Подошел мужчина из дельфинария, пожаловался, что какой-то дельфин опять на него плевал. «Так ты ему в тот раз рыбы не дал, — объяснила женщина, — он тебя запомнил». На их место сели трое местных охотников, до них дошла новость: собираются запретить свободную продажу пороха, будут выдавать только патроны, по счету, через начальника: двадцать штук, скажем, на уток, столько-то на зайца. Матерились, рассказывали про дорожное происшествие. На мгновение приоткрылась жизнь, о которой я знал не больше, чем о жизни ящериц, которые проскальзывали по своим насущным делам среди камней, среди пахучих сухих трав с неизвестными мне даже названиями. Я для этой жизни был посторонним — мое приятное времяпрепровождение здесь показалось вдруг в сравнении с ней

каким-то не вполне настоящим, что ли, как ненастоящими были никогда не потеющие красавцы с курортной рекламы...

Нет, тут стоило бы, пожалуй, еще разобраться. Обнаруживаешь в чужой жизни что-то, чего не хватает в своей — и сразу же тянет ее опровергать. Вот люди сидят за столиками кафе, провожают рассеянным взглядом проходящих мимо, отхлебывают не спеша из своих посудин, пускают из ноздрей и рта успокоительный дым. Им хорошо, разве нет? Хорошо именно потому, что они могут сейчас ни о чем не думать. Шум волн на берегу вымывает, заменяет мысли. Что тебе в этом кажется недостаточным? Мог же только что сам растворяться, так сказать, бездумно в чудной стихии — когда плывешь в невесомости, свободно, как дышишь или идешь, под тобой колышутся мохнатые водоросли на бугристых от мидий камнях, проплывают переливчатые стайки рыб, вокруг горы, облитые горячим воздухом... ну, и так далее... Обнаруживалась вдруг словно бы хитрость природы: потому ты и мог что-то вспомнить, назвать словами, что удосужился это отметить, запечатлеть сознанием. Не запечатленное, не отмеченное попросту исчезало из жизни — насовсем, бесследно...

Ну вот, молодец, додумался. О чем спохватился переживать! Большая часть жизни именно так и проходит — незаметно, беспамятно, автоматически, подбирай, если хочешь, другие слова. Иначе не может быть, пора бы уже напрасно не брыкаться. Тебе что, кажется возможным поддерживать этакое постоянное напряжение между миром и чувствами? Молодое здоровое животное наслаждается просто, без слов, радостями мышечными, желудочными, зрительными — разве не это стоит назвать счастьем? Ладно, не будем злоупотреблять словом «счастье», с ним не все так ясно. Состояние организма следует считать здоровым, когда он о себе не напоминает. А тебе, значит, нужно непрестанно пропускать блаженство через сознание, соединять с чем-то в мозгу, в душе, то и дело вникать в свои ощущения, что-то фиксировать, осознавать, осмысливать, подыскивать эти вот самые слова? Но

если это на самом деле не обогащает, а, наоборот, отравляет жизнь?..

Что ж, нельзя не признать, тут есть что-то от болезненного извращения. Так, бывает, едва ускользнешь, наконец, от бессонницы, но вздумаешь вдруг оценить: я сплю. И сна нет как нет. Какой-то коварный механизм встроен в твое человеческое устройство. Слова, может, больше всего мешают. И кажется, будто именно они позволяют задерживать, наполнять, делать полноценными хотя бы некоторые мгновения исчезающей невосстановимо жизни — не хочется все-таки допускать, чтобы она так просто и уходила, все быстрей и быстрей, растворялась, сливалась с пугающей пустотой, вот я о чем...

Допустим, так. Но есть хорошо разработанные способы заполнять пустоту. Проще всего, когда впечатления поступают, обновляются беспрерывно, извне, сами, не требуя внутренних усилий, как достопримечательности за окном туристического автобуса. Только успевай записывать в тетрадку названия местностей, чтобы потом не смешалось в памяти. Возле какого это монумента мы сфотографировались? Как назывался город, в котором была эта церковь? На пенсии самое время поездить, посмотреть мир. Если есть, конечно, такая возможность. Тем более при льготных тарифах. Та же повседневная занятость, очевидность задачи, благодетельная поглощенность процессом — что нам еще нужно? Заодно можно опять при желании привычно сетовать, как тебе всегда не хватает времени — именно времени — по-настоящему на чем-то сосредоточиться, что-то осмыслить. Отвлекает, мешает шум повседневной жизни. Уйти бы, как древние мудрецы, в пустыню. На худой конец в деревенское уединение.

Как бы не так! Предаваться раздумьям о жизни в свободное от работы время — занятие изматывающее и чаще всего бесплодное. Нужно, чтоб мысли, время и силы были щадяще, то есть постоянно чем-то загружены, называй этот процесс как угодно. Для специальных занятий не зря с давних времен выделялись разряды особых служителей, как выделялись — может, самой природой или неизвестным замыс-

лом — брахманы, воины, да хотя бы, допустим, топ-модели. Может, и твое литературное производство (назовем это так) для чего-то понадобится. Ведь не просто же для себя — для общего, так сказать, пользования ты приставлен ворочать, составлять что-то в уме, искать слова, с пером в руке прояснять, осмысливать, запечатлевать даже вот это свое нынешнее, нетворческое состояние...

(Журчания почти уже не слышно, а бачок так до сих пор и не заполнился. Отключили, что ли, совсем? Временные неполадки. Бывает. Включат опять. Не могут же вообще не включить).

Вот ты сейчас что: ничего не делаешь — или уже работаешь? Странная, если подумать, профессия, где процесс мысли совпадает с работой. Или тут скорей профессиональная болезнь вроде кожного зуда? Записываешь попутные впечатления, рассуждаешь о том, о сем — глядишь, потихоньку, само собой сложится что-то вроде эссе.

Стоит, кстати, об этом подумать. Есть в этом жанре что-то удобное, практичное, соблазнительное. Незачем напрягать воображение, выращивать в мозгу, наполнять жизнью создания, прежде не существовавшие, выстраивать последовательный многомерный сюжет. Достаточно, вот как сейчас, скользящих разрозненных лучиков. Выходит иногда любопытно. И читается легче. Не зря ведь читатели последнее время все больше предпочитают прямое изложение мысли, когда ничего не надо самим расшифровывать, договаривать. Мемуарные размышления композитора бывают увлекательней, я бы сказал, демократичней его непростой музыки. Музыка — это, как говорится, из других сфер, не всем доступных и даже нужных. Она дается другим усилием, другими способностями, ее можно не воспринимать, попросту не знать. Она, в конце концов, может быть вообще никакой — а вот читать интересно.

В романе Роберта Музиля «Человек без свойств» есть замечательные размышления об «эссеизме» как своего рода жизненном принципе, способе отношения к жизни. «Примерно так же, как эссе чередою своих разделов берет предмет со многих сторон, не охватывая его полностью, — ибо предмет, охваченный полностью, теряет вдруг свой объем и убывает в понятие, — примерно так же следовало... подходить к миру и к собственной жизни». Причем эссеистики как таковой среди литературных сочинений Музиля совсем немного — почти всю жизнь он потратил на этот свой единственный, так и не завершенный, мало кем воспринятый поначалу роман. И в самом романе с иронической (на самом деле заметно уязвленной) усмешкой поминает куда более удачливых, чем он, популярных эссеистов, мемуаристов, авторов так называемых биографий.

Что мешало ему, черт побери, самому добиться заслуженного успеха? Ведь умел же, да еще как! Сам роман читается местами именно как грандиозное эссе. Можно вообще считать его, если угодно, грандиозным эссе, написанным в виде романа. При всем разнообразии лиц, историй, характеров все эти великолепно вылепленные персонажи в одном до неправдоподобия схожи — способностью непринужденно, экспромтом высказывать суждения, доступные на самом деле одному лишь Музилю. А ему-то они давались пожизненным усилием, были выношены, выверены, отточены — ни слова случайного, приблизительного, пустого, никаких промежуточных междометий, без которых на самом деле редко обходится повседневная речь. Мысли элегантные, ироничные как бы сами собой выпадают из многолетнего насыщенного раствора. То есть уже очевидно перенасыщенного — столь концентрированную эссеистику оказывается тоже не так просто усвоить. Лучше всего одолевать за раз страниц по шесть-семь, попутно разбавляя эссенцию. Недаром, чтобы оценить Музиля, публике потребовалось время — дождаться прижизненного признания ему не довелось.

Хотелось бы, однако, понять, что такое для Музиля эссеистика, «берущая» жизнь с разных сторон, но не претендую-

щая на возможность охватить ее противоречивую полноту. Подлинно великой эссеистике, пишет он, чужда «именуемая субъективностью безответственность фантазий, но и „верно“, „неверно“, „умно“, „неумно“ — понятия тоже неприложимые к таким мыслям, которые тем не менее подвластны законам столь же строгим, сколь тонкими и невыразимыми они кажутся». Ничего себе сказано, а? Надо понимать, законы вроде бы есть, но формулировке не поддаются: как в самом деле выразить невыразимое? И мы вроде бы догадываемся, что он имеет в виду, а попробуй перескажи, растолкуй. Растолковал бы сам автор. Но похоже, он как раз и работал для того, чтобы добраться до какого-то трудновыразимого понимания. Мне особенно понятен и близок феномен именно такого писателя. Человека, не излагающего заранее ему ясное — пишущего, чтобы что-то прояснить. Может, мы и живем-то, чтобы понять, зачем.

«Многие предпочитают сумасшедшие мысли трудным», — усмехается снова Музиль. Ну, мы и это по себе знаем. Думать всерьез, говоря между нами — работенка скорей для слишком уж самоотверженного любителя. Или для сдвинутого профессионала, который в такую работу запрягает себя сам, как Музиль. А ведь умел, глядишь, выдать и легкий афоризм — едва ли не на каждой странице встретишь что-нибудь не менее блистательное. Вычленить и выпустить бы их отдельной книгой — она могла бы, наверно, стать популярной, куда популярней, чем весь трудноподъемный роман. «Зоология учит, что из суммы неполноценных особей вполне может составиться гениальное целое». Право же, хорошо! Сложность в том, что сам автор слишком чувствует недостаточность любого частного утверждения. «Такие фразы пребывали среди его занятий, — пишет он об Ульрихе, умном герое романа, а в чем-то своем alter ego, — как не связанные друг с другом и редко посещаемые острова; но когда он окидывал их взглядом, насколько это позволяло его знание, ему казалось, что между ними есть связь, словно эти острова, на небольшом расстоянии один от другого, лежали недалеко от берега, который скрывался за ними, или пред-

ставляли собой остатки материка, погибшего в незапамятные времена. Он почувствовал мягкость моря, тумана и низких, черных, спящих в желто-сером свете холмов».

И на схожую тему в другом месте: «Фраза эта была неотделима от определенного пространства, от комнаты с желтыми французскими брошюрами на столе, с портьерами из стекляруса вместо дверей, и в груди возникало такое чувство, словно запускаешь руку в распахнутую тушку, чтобы вытащить сердце».

Вот тут действительно проявляет себя подлинный романист, художник, которому нужен все-таки емкий пластичный образ — он способен вобрать в себя, выразить больше иных рассуждений. И Музиль это умеет, да еще как! Роман полон картин, звуков, запахов, впечатляющих описаний, психологических сцен, житейских подробностей. И такие подробности для Музиля — не литературная частность, не антураж. Оставаясь одновременно эссеистом, он старается осмыслить их значение и роль — уловив раньше и лучше многих, сколько они определяют в самой жизни, культурной, частной, общественной.

«В кино, в театре, на площадке для танцев, на концерте, в автомобиле, самолете, — пишет он, — в швейных мастерских и коммерческих конторах непрестанно возникает огромная поверхность, состоящая из впечатлений, выражений, жестов, манер и переживаний... И совершенно неважно, что из этого удержится, а что снова исчезнет, как подумаешь, сколь великие и, вероятно, напрасные усилия понадобились бы, чтобы прийти к таким революциям в быту ответственным путем умственного развития, через философию, художников и поэтов; ведь из этого видно, какой творческой силой наделена поверхность вещей по сравнению с бесплодным упрямством мозга».

«Бесплодное упрямство мозга» — не слышится ли в этих словах ирония автора по отношению к себе самому? Не о своих ли он мучительных литературных попытках создать «ответственным путем» что-то действительно безусловное, долговечное? «Многие предпочитают сумасшедшие мысли

трудным», — о да! А сколько усилий направлено на то, чтобы вообще вытеснить мысли: громом ли электронных инструментов, ритмическими ли движениями — чем угодно, что можно было бы назвать этим нынешним словцом «кайф». Какой опыт мог всерьез рекомендовать другим человек, всю жизнь мучительно ворочавший в мозгу свои сизифовы глыбы?

Знавшие Музиля отзывались о нем по-всякому. Отмечали в нем элегантность, замкнутость, вежливость, суховатость, иногда уничтожительную резкость, отмечали чувствительность к похвале и уязвленность преобладающим непониманием — много чего. Но в способности к самоиронии он никем, кажется, не был замечен. Похваливший при Музиле Томаса Манна рисковал испортить с ним отношения. Когда так непросто складывается жизнь, литературная судьба, в самом деле не всегда удается насмешливо взглянуть на себя со стороны. А вот в романе, где доверяешь героям выношенные свои мысли — и тут же, как положено автору, с добросовестностью объективного исследователя их перепроверяешь, неизбежно осознавая их недостаточность — вот тут-то, подчиняясь тому же бестрепетному писательскому долгу, поневоле усмехаешься, словно перед честным зеркалом, а то и покажешь язык самому себе.

Размышления о «бесплодном упрямстве мозга» и о силах, определяющих реальное развитие, Музиль доверяет на этих страницах человеку, которого он себе довольно откровенно противопоставляет — «сверхлитератору» Арнгейму, человеку, сумевшему во всем добиться успеха. «Осторожно, в виде пробы и с приятным чувством личной застрахованности Арнгейм пытался приспособиться к этому неминуемому, как он считал, ходу событий». В словах о «застрахованности» нетрудно уловить, конечно, уже знакомую нам усмешку — Музиль то и дело вынужден был отмечать, насколько ему самому приспособиться не удается. Над успехом он продолжает иронизировать не без блеска. «Существовала предпочтительная дозировка, сулившая в мире наибольший успех, маленькая, в обрез отмеренная добавка суррогата». Можно

подумать, он сам-то знал точный рецепт, только не хотел воспользоваться — «как того требует чувство социального благополучия».

Знал ведь и об этом требовании — он все мог понять. (Что не мешало ему бывать беспомощным в делах житейских: он словно не умел обращаться с деньгами, предоставлял жене расплачиваться за него в кафе и покупать билеты в трамвае — без нее он ходить не любил). «Чистейшая банальность всегда человечней, чем новое открытие», — блистательные выписки можно множить. Вот снова на ту же тему: «В ходе времени обыкновенные и неличные мысли сами собой усиливаются, а необыкновенные пропадают, отчего почти каждый становится все посредственней». Для нас это звучит, пожалуй, даже более современно, чем в пору, когда писался роман. При этом Ульрих, герой романа, отдает себе отчет и в другом: «Нельзя злиться на собственное время без ущерба для себя самого».

Когда читаешь дневники Музиля, его письма или эссе, возникает, право же, впечатление, что сам он порой все-таки злился. Другое дело роман. У него бывало на душе «совсем так, словно он родился с каким-то талантом, с которым сейчас нечего делать», — это автор пишет о герое романа — но, конечно, и о себе тоже. Как положено творцу, Музиль внимательно и бестрепетно, с высот все той же иронии продолжал осмысливать свое время в разных его проявлениях — пробиваясь если не к недоступной, может быть, полноте цельного понимания, то к чему-то, что в романе называется «другим состоянием».

Понять бы, к чему он в конечном счете пришел. Это эссеист предложит нам свои размышления и доберется вместе с нами до результата. В романе Музиля мы вовлечены, так сказать, в поле незавершенных художественных поисков, и мыслей нам предложено тут в избытке, только разбираться приходится самим. Наши толкования скорей всего заставили бы самого автора то и дело скептически вскидывать брови. Иначе не может быть. Ведь это становится уже отчасти не просто его — нашим миром.

В романе есть пассаж о людях, уверяющих «с горькой скромностью», будто они «хотят, чтобы о ценности созданного ими судили лишь через три или десять столетий, но все ощущают как ужасную трагедию немецкого народа тот факт, что действительно великие никогда не становятся его живым культурным богатством, потому что они слишком далеко уходят вперед».

Отрезвляюще действует сейчас сама эта насмешливая, на удивление современная интонация...

Надо будет еще об этом подумать, — оставляю я в книге закладку. Сумевшие довести свои усилия до мало-мальски приличного конца вправе назвать роман, на который были потрачены десятилетия, документом грандиознейшего литературного поражения. Слишком, пожалуй, грандиозного, попробуй его сразу осмыслить, вместить. Почему в самом деле проблемой оказалось завершить замысел?

Помнится, наш старый настройщик роялей выразился об одной знаменитой фирме: «Они не умеют кончать». То есть, по частностям у них вроде все в порядке, все составляющие высшего качества, а вот завершенное целое получается не таким, как хотелось бы, как могло бы. Где-то у меня в записной книжке должно было остаться имя-отчество этого настройщика... вот: Леонид Гаврилыч. Уже, наверное, умер. В эссе можно ведь вставить даже подлинное имя, жанр позволяет. Надо попробовать. Недостижимый уровень эссеистики — больше, чем эссеистика, вот чему бы поучиться у Музиля. Чтобы понимание становилось действительно объемным и многомерным, может, стоит в самом деле ввести и в этот вот текст элемент беллетристического повествования? А? Какого-нибудь, скажем, условного героя — пусть поможет перепроверять нащупывающую мысль посторонним недоверчивым взглядом. Вроде, допустим, упомянутого соседа, того, что мимоходом зацепил эту самую мысль словцом о конвейере. Наделить его, разумеется, вымышленным именем. Скажем, Павел Ильич. Почему-то кажется, что это имя ему лучше всего подходит. Внешность позволительно срисо-

вать с натуры: моложавый, в джинсовой куртке, седина только на висках, волосы редкие, зализаны поперек темени...

Господи, нашел бы кого-нибудь получше, — остановил я себя, поморщась. Кого-нибудь поближе. Вот уж совершенно незнакомый, малопонятный, не особенно интересный мне человек. Я даже не знаю его профессию. У какого он мог работать конвейера? Завинчивал, соединял подплывающие механические детали? Работа с металлом оставляет на пальцах несмываемые заусеницы. Или он имел дело с электроникой потоньше? Можно при случае взглянуть на его руки, не пришло сразу на ум. Только вот зачем?..

Мне, между прочим, с некоторых пор показалось, что этот сосед словно стал избегать со мной встреч: во дворе или на улице делал вид, будто не замечает меня, смотрел в сторону, а то даже заблаговременно куда-нибудь сворачивал. Впрямь, что ли, между нами возникла непонятная мне до сих пор неловкость? Пооткровенничаешь с попутчиком в поезде — так потом ведь расстанешься навсегда, можно ни о чем не жалеть, не опасаться смущающей встречи...

Нет, фантазировать тут вряд ли стоило. По-настоящему у нас никакого разговора и не было. О чем вообще было с ним говорить? Занятно, что прежде я этого Павла Ильича почти не встречал. То есть не замечал, не выделял рассеянным взглядом. И вот он словно стал возникать то и дело, даже влезал без надобности в мои мысли... Конвейер. Тоже ведь прицепилось слово. Что-то по разряду так называемой производственной прозы. Было, помнится, такое литературное понятие. Давненько не вспоминал. Конфликты в трудовом коллективе. Скорость движения конвейера должна оговариваться в соглашении с профсоюзами. Ну, это, допустим, не у нас, у нас разве настоящие профсоюзы? Раньше бы писать про такое не разрешили, попахивало литературным вольномыслием. Вообще отношения с начальством — тут открывается возможность разнообразных сюжетов. Ежегодные путевки на курорт полагались не всем, их надо было заслужить, не просто работой, правильным поведением. А то

какой-нибудь аноним напишет кляузу, прилепят тебе аморалку — и ни путевки, ни премии...

Бог ты мой, даже на зубоскальство в духе нынешнего соцарта меня, боюсь, не хватило бы. Такая оскомина вдруг начинает сводить скулы! Выморочность, тоска. И ведь у кого-то с этим до сих пор связаны задушевные воспоминания. Задушевные, не оспоришь. Коллективные поездки на спектакль «Сталевары». Автобусами из соседних областей. С хоровым пением в пути. (Песни до конца дней не забудешь). С запасом времени, чтобы успеть отовариться в магазинах московскими апельсинами, колбасой и водкой. Читательские конференции, взволнованные обсуждения. Взволнованные, разве нет? Критика существующих порядков. Тема столкновения с бюрократами... Как это совмещалось с жизнью, где не тащили с предприятия, только если тащить было совсем нечего, где после получки производство на два дня замирало, а бабы замазывали косметикой синяки на побитых лицах? То-то и оно, что совмещаться могло искренне и не такое. И чем дальше, тем искренней отстаивалась ностальгия по молодым временам... Аварии как повод для проявления героизма. Простые технические неполадки не в счет. Сбой налаженного процесса. Вроде как у меня сейчас...

(Отсидел ногу... — да, стоит, между прочим, записать и это сравнение. Видишь пальцы, направляешь на них волевое усилие, но шевельнуть не можешь. Отключился нерв, соединяющий мысль и волю с двигательной мышцей. А ведь знаешь, что правильней не вглядываться в себя: получается или все еще не получается? Известный способ обеспечить себе импотенцию)...

Отвлекся, куда тебе вовсе не надо. Переменить позу. Производственные проблемы так называемых творческих натур — вот об этом можно бы поговорить. Каких только не изобретали способов себя подстегивать! Тому надо было держать ноги в тазу с горячей водой, другой вдохновлялся запахом яблок из ящика письменного стола, причем яблок опре-

деленного сорта (вулканизационной камеры под рукой не было), третий просто накачивал себя крепким кофе...

(Да, кофемолку надо же все-таки, наконец, починить. Сколько еще можно откладывать? Не в том дело, что вкус кофе оказывается без нее не тот — надо хотя бы восстановить привычный утренний ритуал)...

Или вот, скажем, Достоевский. Тоже всю жизнь жаловался на нехватку времени, денег, на мешающие обстоятельства. Поджимали договорные сроки, надо было отдавать долги, не везло в рулетку — то и дело возобновляется страдальческий вопль в письмах. В такой, мол, спешке приходится постоянно комкать все и портить — именно приходится, поневоле. Написать бы хоть один роман «не на срок, а так, как пишут Толстые, Тургеневы и Гончаровы». Можно подумать, что будь у него имение с приличным годовым доходом, он бы и вправду засел, наконец, в благоустроенной раковине выращивать не спеша, со вкусом какую-то совсем уж небывалую жемчужину. Как бы не так! Можно об заклад биться, что довольно быстро оказалось бы спущено любое состояние на той же рулетке. Случалось же, и не раз: сроки чудовищного кабального договора уже подпирают, а он даже пока не начинает чесаться, тратит время неизвестно на что, играет — добро бы на рулетке, там все-таки был настоящий, хотя и сомнительный азарт — нет, в каких-то пустых домашних спектаклях. Имитация занятости, способ убивать время. Именно убивать, изживать хоть как-нибудь — когда его было в достатке. А вдохновение, надо понимать, подремывало. Достоевский словно старался умышленно загонять себя в безвыходное положение — только отчаянная, крайняя необходимость начинала, наконец, подстегивать, пробуждала лихорадочную работоспособность, доводила до нужного состояния. Зарабатывать на отдачу долгов он умел только пером, ничего не поделаешь — снова получал право сказать это себе. И возобновлялись проклятия мучительной литературной каторге.

Для великого творческого достижения, как полюбили мы многозначительно повторять вслед за классиком, страдать надо, страдать. Хотя с этим тоже ведь у кого как получается. Страдающих вроде бы хватает, а с творческими достижениями вопрос все равно неясен.

Есть лукавство в известных разговорах о том, что подлинно великое искусство лучше всего расцветает при тирании. Как будто тебе подсовывают сомнительный комплимент. Существовали, мол, предпосылки для гениальности — некоторые, значит, не оценили, соблазнились по своей слабости существованием, которое у других называется нормальной жизнью. Ностальгируй теперь, если хочешь. Если еще не понял, что, может, лучше вообще прекратить это необязательное занятие.

«Русскую жизнь изуродовали хорошие книги, — прочел я недавно у одного из наших, уехавшего от тирании подальше. — Это была сублимация недоедания». И в том же духе. Бессмысленно обсуждать. Все равно что оправдываться за то, что продолжаешь писать, переваривая калорийную как никогда пищу. А без паршивенькой кофемолки, оказывается, теперь не можешь. Остается только признать, что комфорт в самом деле способен отвлекать, расслаблять — по крайней мере, таких, как ты, с непривычки. На мягком сиденье какого-нибудь европейского Intercity удавалось не более чем дремать да глазеть в окно — не приходило в голову хотя бы простенького сюжета о загадочном дорожном убийстве. Организм, что ли, не приспособлен? У других, здешних, получалось же? Но как пробуждалась, бывало, мысль в душном плацкартном вагоне, где кормили грудью ребенка, загородив купе простыней, раскладывали на жирной оберточной бумаге котлеты и помидоры, играли в карты, обсуждали житейские дрязги, политические новости, говорили о болезнях и детях! Среди этого шума она странным образом начинала работать — словно именно из него что-то вдруг возникало. Он входил обертоном в само вещество работы. Мало ли какая мелочь вдруг зацепит, запустит в ход мысль?..

В гарантийную мастерскую пришлось тащиться на другой конец города, с двумя автобусными пересадками. Вокруг был уродливый квартал, отчасти промышленный, отчасти жилой. Сиротские серые пятиэтажки, панельные башни цвета давно не стираного белья зажаты были с разных сторон тяжеловесными бетонными стенами предприятий. Неприхотливые, нагловатые, жизнестойкие провинциалы-лимитчики поспешили без оглядки проникнуть, втиснуться в еще не занятые зазоры, уголки, лишь бы застолбить себе жилую территорию, а потом удержаться здесь уже насовсем, насколько самих хватит. Давно ли на крохотных балконах хранились мешки с картошкой, привезенной деревенскими родственниками, кое-кто даже ухитрялся держать коз? Людям на таких балконах делать ведь нечего, сюда не выходят вечерком подышать свежим воздухом. Какой тут воздух! Теперь они загромождены были обычным хламом, на веревках сушилось белье, уже тронутое копотью. Почему вид стираного исподнего вызывает такую меланхолическую усмешку? Выставленная напоказ малоэстетичная сторона жизни. Но ведь то же самое белье может и восхищать. Только не на этих веревках. Все дело в контексте. Потому взгляд и бывает несправедлив, вот с чем надо считаться.

А, может, дома были построены раньше заводов, не таких поначалу громадных? Это они потом стали разрастаться сами собой, от напора внутренних производственных сил, как вздуваются недоброкачественные образования. Трудно было предположить заранее осмысленную плановую идею в головах сооружавших все это. Дома строились ненадолго, их предполагалось через какое-то время снести. Но вот, предприятия уже выдохлись, начали вымирать, а три жилых окна с балконом свежеокрашены, на балконе зеленая тарелка телеантенны. Значит, кто-то, даже разбогатев, собирался здесь жить дальше, и детей, может, оставить...

Коллекционирование подробностей впрок, неизвестно зачем. Писательский автоматизм. В воздухе держался запах детских пеленок. Хилые деревца служили здесь не более чем

источником пыли. Серый тягостный цвет окрашивал лица редких встречных мужчин — все были какие-то сумрачные, усталые или непроспавшиеся. Мой вопрос вызывал у них недоумение. Не знал никто такой улицы, хотя что-то похожее вроде слышали. Словно сами оказались тут непонятно как, с перепою, не вполне ориентировались, махали неопределенно рукой: где-то не здесь.

Между тем табличка с нужным названием открылась вдруг совсем неподалеку, за очередным углом, на стене громадного заводского корпуса с единственным рядом непрозрачных, пыльных окон совсем вверху, и номер здания был тот самый. Добираться вдоль стены еще, однако, пришлось чуть ли не полкилометра. Стена сменилась длинной оградой из того же бетонного материала. В одном месте тротуар пересекли железнодорожные рельсы. Въездные металлические ворота были закрыты, с сетчатой арки над ними осыпались крупные буквы названия, осталась единственная «х». Наконец, ограда снова уперлась в стену здания, там обнаружилось что-то вроде служебного подъезда с широкой парадной лестницей. Никаких табличек у входа, однако, не оказалось, все три массивные двери были заперты, и стучаться я зря не стал. Опыт уже научил меня, что искать надо где-то не здесь.

Действительно, вывеска фирменной мастерской обнаружилась подальше на маленькой боковой пристройке. Отмирающий гигантский монстр выдавал из остаточных недр несоразмерные крохотули вроде моей кофемолки, чтобы на последнем издыхании еще подтверждать, поддерживать свою жизнеспособность. Получалось, как я убедился, не слишком удачно.

Заранее тягостно было думать о необходимости проделывать тот же путь еще раз. Я вышел с полученной квитанцией из мастерской и огляделся: в какую сторону следовало теперь идти к автобусной остановке? Недавние блуждания совсем сбили ориентацию, не мог уверенно вспомнить. Спросить бы у кого дорогу, но ни живой души не было поблизости...

Внезапно я вздрогнул, увидев своего Павла Ильича.

Это был, право же, он, я не мог ошибиться, хотя он стоял ко мне спиной. Джинсовая курточка была знакомая, а главное, сама фигура, и редкие волосы на макушке, и эта жестикуляция. Он что-то объяснял человеку, который соизволил выйти к нему из парадных дверей. То был не прежний пожилой вахтер, какие мирно проверяли у турникета в проходной пропуска, а настоящий охранник, из нынешних, грозный бугай в пятнистой форме, с коротким автоматом на плече и даже зачем-то при бронежилете. Как будто здесь следовало опасаться стрельбы. Наверно, больше, чтоб производить впечатление. Павел Ильич искательно показывал какой-то свой документ, объяснявший право сюда стучаться, тот небрежным жестом махал в сторону: то ли призывал отойти и не мешать, то ли указывал, где положено было теперь предъявлять устаревший, наверно, пропуск.

Что могло здесь понадобиться моему Павлу Ильичу (я уже так про себя мысленно называл соседа)? Неужели и впрямь не вытерпел, захотел все-таки наведаться к своему оставленному конвейеру, вдохнуть еще разок необходимый, благотворный для соскучившегося организма воздух?.. Беспомощно как-то вдруг сникнув, он пошел, куда ему указывали, вдоль бесконечной бетонной ограды...

Меньше всего мне хотелось, чтобы он меня сейчас тут увидел. Но не было еще полной уверенности, что это действительно он, а почему-то надо было либо убедиться, дождаться, пока он повернет лицо, либо посмеяться над выходкой услужливого воображения. К тому же он должен был знать дорогу к автобусу, для него это был привычный маршрут, имело смысл пойти за ним. Да, именно ради этого...

Я выдержал подобающее расстояние и двинулся вслед — сам себе напоминая персонаж какого-то дешевого детектива.

Ночные фонари отбрасывают на стену ломаные тени, пугающие или перепуганные. Хруст шагов в пустоте. Жители окрестных домов ничего не знают о происходящем и не смо-

гут потом рассказать полиции... Да какие тут тени, какая полиция? Неразбитых фонарей, наверное, не осталось. Вот сейчас среди бела дня перегородят дорогу двое, дохнут в лицо перегаром, и куда денешься?...

Чувство повторяющегося тягостного сна, когда невозможно никуда свернуть внутри глухих бетонных загонов, и уже не хватает воздуха. В деревянном заборе можно было хоть выломать доску, заглянуть, протиснуться через щель, неважно зачем, пусть вовсе без надобности, главное, на ту сторону, чтобы хоть убедиться: ничего там другого нет, то же самое, даже хуже. Возвращайся, оставайся, где был до сих пор. Пока можешь. Выдерживал же...

Что-то гнетущее было в этом квартале. Знаем ли мы в самом деле, как сказывается на нас уродливое окружение? — вспомнилась опять давняя, до конца так и не разрешенная мысль. Говорят, красота леса и гор, благородство изящной архитектуры — вот что формирует полноценную человеческую душу. Хорошо бы, нет спора. Но ты снова напоминал себе, что могло казаться красотой и счастьем когда-то в детстве. Когда пускал кораблики, сделанные из щепки, они плыли по мутным весенним ручьям мимо грязных покосившихся заборов, облезлых барачных стен; в воде с бензиновыми разводами ослепительно отблескивало солнце, пахло сырой землей, талым снегом — все было полно сияния и радости. Своя красота была в загаженных городских речках, в выродившемся мелколесье, пыльной траве с мелкими цветочками. И совершенно ведь при этом не думалось о грязном убожестве, как не было еще сознания, что зелень может быть ядовита, а вода радиоактивна. Только ли потому, что нам от рождения дано было счастье до поры не представлять, не думать о возможностях какой-то другой жизни, другой обстановки? Это потом уже, вспоминая, мысленно сравниваешь восхищенное свое детское чувство с усвоенными впоследствии представлениями о красоте и покачиваешь головой, сам себе не вполне доверяя...

Нет, не просто в сравнении дело. Вот уже годы спустя смотришь на холсты умудренного, навидавшегося жизни ху-

дожника. Это ли знакомые бараки, уродливые, тоскливые (как ты теперь сознаешь) улицы? Золотистый закатный отсвет ложится на кирпичные и бетонные плоскости глухих стен, сияют нежные тени, над ними, что ни говори, небо, синее или пусть даже серое, легкие облака, грозовые тучи. Нищий, неухоженный Витебск Шагала, где за ворота выплескивались помои, оказывается так же чудесен, как великолепный Париж. В воспоминаниях художник, морщась, оглядывается: «Как я ухитрился здесь родиться? Чем здесь можно дышать?» И тут же: «Церкви, заборы, лавки, синагоги, незамысловатые и вечные строения, как на фресках Джотто».

Ничего себе — Джотто! Насчет вечности — это в каком смысле? Где эти заборы и лавки, да и синагоги вместе с церквями? Только здесь, на холстах, тут они преображены и увековечены. Но не примешивается ли ко всем этим мыслям ощущение сомнительной двойственности? Нет, не об искусстве речь — оно давно уже приспособилось делать своими объектами, эстетизировать любую грязь, мусор, мятые консервные банки, гвозди, сало, детали, обрывки, обрезки, обломки предметов. И не о детской способности к счастью, (которая не зря нам дается природой: она бывает самосохранительной, помогает приноравливаться, выдерживать еще долго самую тягостную реальность). Но если, даже повзрослев, ты не сумел ужаснуться своей жизни — не хватило честности оценить, каких-то человеческих качеств, чтобы изменить ее, в конце концов, хоть с болью, но все-таки от нее оторваться, как сделал тот же Шагал?..

Что-то и здесь оказывается еще не вполне додумано. Нельзя все же называть просто самообманом эту художническую потребность искать краски, звуки, слова — именно потребность, отнюдь не просто рабочую необходимость — чтобы в любых обстоятельствах обосновывать возможность держаться, воспроизводить насущное чувство жизни, способность к радости. Хотя бы для себя, а там, глядишь, и для других. Если, конечно, представить, что кому-нибудь твои старанья понадобятся. Что у кого-то найдется случай, время, желание увидеть необязательную картину, задержаться, рас-

крыть страницу. Сохранившаяся на всю жизнь неприхотливость, невнимание к внешним условиям существования может быть связано со способностью распознавать прекрасное в любом убожестве и метафизическое измерение — в старом колченогом стуле, который у поэта вдруг становится темой стихотворения.

Будем все-таки считать: это нам нужно, чтоб выжить. Иначе ведь просто повеситься либо спиться — трезвость невыносима. Какие-то способы надо искать. Кто как постарается...

Человек в джинсовой курточке продолжал свое озабоченное движение вдоль бесконечной ограды. Хорошо, что не собирался на меня оглядываться. Довел бы до остановки, мне больше не нужно. Прокисшей мочой, давно отработанным паром, неудовлетворенной похотью пахло от разогретой ограды. Разноцветные надписи и рисунки на ней мало чем отличались от других таких же. Названия футбольных команд и музыкальных ансамблей можно было опознать здесь. Враждующие болельщики и поклонники перебранивались друг с другом на языке скорей ритуальном, чем всерьез оскорбительном. Расшифровывать хитроумные орнаменты не имело смысла, тем более на ходу. Язык для посвященных, как в новом искусстве, не обязательно было его понимать. Слова, написанные с ошибками по-английски, не выглядели даже непристойностями, как наши, прежние. Те были все-таки способом выплеснуть известную подростковую озабоченность, подрочить хоть на стену. Демонстрировалось скорей стремление приобщиться к новой, не вполне еще освоенной культуре. Живей других звучал остаток надписи бледным школьным мелком: «Мамка, сволочь, я ему все равно дам!» Нельзя не искать способ сопротивления, самоутверждения, протеста. Отсутствие запретов может оскорблять, как изощренное издевательство. Кричи безнаказанные богохульства прямо в небеса, подкрепляй их жестами, которые у вас считаются непристойными, показывай, что у тебя есть показать — ну? убедился, что тебе ничего за это не будет? что там

никого просто нет? Сопротивляешься хотя бы монотонности этих насильственных стен. Раскрасить их — значит уже расчленить, освоить. Яркие брызгалки стоили недешево, не то что нестойкий мел. В одной не хватило, видимо, краски, слабеющей линией намечено было стилизованное изображение шприца, его нечаянно дополнил природный сырой потек: каплей жидкости повис он на кончике иглы. Додумался бы кто обводить, выявлять осмысленные очертания в самих этих разнообразных пятнах, трещинах — вот где может начаться работа действительно самостоятельного ума, взгляда. Какой это, помнится, художник придумал технику, где использовались случайные наплывы краски?..

Внезапно я обнаружил, что за посторонними мыслями потерял из виду своего Павла Ильича. Огляделся опять в растерянности. Куда он здесь мог свернуть? За железнодорожной колеей открылась небольшая, еще не до конца реставрированная церковь. По пути сюда я ее не заметил. Обычное дело: та же дорога, когда идешь в обратную сторону, оказывается неузнаваемой. Здесь когда-то, наверно, была деревенька, церковь пыталась вспомнить прежнее существование. Туда ли ее занесло? И проходил ли я тут в самом деле? Ворота, в которые уходила железнодорожная колея, теперь оказались распахнуты, последняя буква с сетчатой арки, видимо, утомилась бессмысленным висением, как часовой, забытый на опустевшем месте, и, улучив момент, пока на нее не смотрели, сумела потихоньку упасть куда-то ко всем остальным, освободившим себя от службы.

За воротами, как за открывшимся занавесом, простиралась обширная, уже становившаяся пустырем территория с корпусом производственной архитектуры поодаль. В этой распахнутости было что-то приглашающее: ну? Только что тебя угнетала, давила закрытость без перспективы, никуда нельзя было даже заглянуть — на, смотри. Подростка бы сразу потянуло шмыгнуть за оказавшиеся вдруг доступными кулисы, через служебный, обычно запретный вход. Исследовательский инстинкт, унаследованный от животных...

Вряд ли я мог бы себе сказать осмысленно, что меня туда повлекло. Надеялся ли увидеть где-нибудь там исчезнувшего, не вполне опознанного знакомца? Разумное обоснование подоспело, пожалуй, уже задним числом.

Территория показалась вначале еще более безлюдной, чем улица — если позволительно сравнивать безлюдность. Пространство, так сказать, было масштабней. Лишь пройдя несколько шагов, я заметил на отдалении возле небольшой служебной постройки трех-четырех человек, они загружали в автомобильный фургон ящики. Из пыльного бурьяна там и сям местами выпирали невнятные сооружения или образования, вызывавшие мысль то ли о разоренном, одичалом кладбище, то ли о парке модернистской скульптуры. Заржавелые рельсы уходили прямиком дальше, в чернеющий, как врата ада, проем корпуса. Над проемом была красным кирпичом выложена монументальная цифра: «17».

Та же невнятная, все еще без мыслей, инерция потянула заглянуть зачем-то и внутрь. Цех отзывался гулкой пустотой на каждый мой медленный шаг, слышно становилось собственное дыхание. Рельсы продолжали свой путь по бетонному полу. Вверху над ними отблескивали черной смазкой остатки подвесных рельсовых устройств. Они плавно изгибались, обозначая маршрут исчезнувшего производства. Кое-где с них свисали цепи, болтались оборванные шланги, культи непонятных металлических сочленений. Останки полуразобранного оборудования еще громоздились в разных местах. В таких декорациях хорошо бы смотрелись сцены перестрелок между соперничающими гангстерскими кланами. На этом крюке поволочь куда-нибудь вверх и вдаль зазевавшегося головореза. А еще эффектней бы грохнуть его спиной об электрический щит с остаточными рубильниками — то-то брызнут фейерверком искры, то-то закорчится в судорогах тело!..

Ничего более осмысленного воображение не предлагало — и что мне тут было для себя искать? Противоположный конец цеха был удален, точно в перевернутом бинокле. Рельсовые пути там вверху и внизу отсекались стеной или скорей

завесой из легкого гофрированного металла — за ней представлялась дальнейшая, невидимая часть перспективы...

Я, наконец, оторвал от нее взгляд. Повернулся к выходу и лишь тут увидел у боковой стены плотные ряды поставленных один на другой картонных ящиков — таких же, что грузили в фургон на улице. Для обычного склада их было много, они могли бы заполнить обширное помещение, но в здешнем несоразмерном пространстве совсем терялись. Двое работников наблюдали оттуда за мной, видимо, уже довольно долго. Теперь наши взгляды встретились — это произвело воздействие сигнала. Мое неподвижное пребывание здесь потребовало, видимо, наконец, выяснения. Один, в легкой бежевой безрукавке поверх рубашки, перемолвился коротко с напарником и направился ко мне ровным неспешным шагом.

— Вам кого здесь нужно? — спросил на всякий случай вежливо, однако настороженно. Так милиционер, начиная разговор, козыряет, прежде чем спросить документы, и обращается по всей форме на «вы», но никогда нельзя знать, чем обернется потом эта вежливость. Я еще туго соображал — не вполне отошел от других, неясно шевельнувшихся мыслей.

— Мне? — переспросил рассеянно, с трудом перестраивая мозги. — Мне никого не нужно... — (Соображения хватило, чтобы не ляпнуть про своего Павла Ильича). — Скажите, а здесь был какой-то конвейер? — спросил я зачем-то.

И в тот же момент запоздало оценил, что ничего более идиотского произнести не мог.

— Какой конвейер? Вы чего здесь выясняете? Документы у вас есть? — Голос его с каждой фразой набирал силу все более подозрительной неприязни.

— Причем тут документы? — сказал я. (Дождался все-таки).

— А ну-ка давайте, пройдемте, — не стал он тратиться на объяснения. — Пройдемте отсюда, я говорю...

До чего же, черт побери, противно оказывалось каждый раз предъявлять документы! До сих пор не научился находить правильный тон. Мог бы не забывать, в какой стране вырос. Хуже всего, если сразу начинал выяснять: а чего я такого сделал? Запретительных знаков или надписей тут нет, я ничего не нарушил. С какой стати должен что-то показывать? Тем более человеку не в форме? Запрограммированная униженность была в самой попытке сопротивления. Тут же ты начинал ощущать, как набухает перед тобой мышца власти. Сопротивления ему только и не хватало. Еще бы физического — совсем хорошо...

Провожатый в безрукавке со множеством разнокалиберных кармашков на животе вел меня между тем по асфальтированной дорожке к служебному зданию у проходной. Он шел впереди, не оглядываясь. Деловитое предвкушение торжества было в его устремленной походке. Пуститься сейчас наутек по шпалам — станет он догонять? — примерил я дурацкую не по возрасту возможность. Заподозрили во мне, наверно, кого-то вроде сыщика из налоговой инспекции. Явился разнюхивать, что здесь за подозрительный бизнес, на каких неизвестных правах...

Перестал бы, наконец, фантазировать на чужеродные темы, — остановил я себя. Сунулся, куда тебе вовсе было не надо, теперь думай, как объяснять. А чего, собственно, объяснять? — примеривал я на ходу. Сказать просто, как было. Искал, мол, дорогу к автобусной остановке... попросту говоря, заблудился, да?.. пошел вслед за человеком, который показался знакомым, но незаметно его потерял... а попутно заинтересовался — не более чем заинтересовался — видом пустого цеха, останками исчезнувшего конвейера. Про конвейер незачем объяснять. Инерция литературной, можно сказать, мысли. Посмеемся вместе...

Н-да, сочинять всегда лучше удается задним числом. И ведь даже неизвестно заранее, кто эти хмыри возле проходной. Камуфляжная форма теперь не говорит ни о чем, она с недавних пор все заметней стала вытеснять обычный мужской костюм. Но рожи у них были те еще! У одного

щеки совсем заросли щетиной, у другого пол-лица обожжены. Персонажи из криминальной хроники.

Провожатый знаком велел мне остановиться на расстоянии, и я все в той же задумчивости машинально остановился. Покорно, как мой Павел Ильич, — вдруг вспомнилось мне отчетливо. Ох, черт побери, это уж дальше некуда! Вот где мы оказываемся похожи — перед охранниками. Советская покорная выучка. А воображал о себе! Пора все-таки себя вспомнить. Говорят, раньше можно было произвести впечатление на милиционера билетом писательского союза. Теперь пришлось бы сперва объяснять, что это за профессия. Журналист, что ли? От пишущих людей жди неприятностей. Вообще не придумаешь более комичного самозванства — называть себя вслух писателем, подтверждать это удостоверением...

Провожатый что-то вполголоса объяснял стоявшим, показывал на меня движением затылка. Главным среди них, похоже, был небритый толстяк в спортивном костюме с крупной надписью на груди: JOKER. Лицо было не то что ожирелое — одутловатое. Посмотрел на меня внимательно, изучающе.

— Материал собираете? — спросил со странной усмешкой.

Да. Значит, все-таки принял за журналиста или кого-то вроде. Я мог только пожать плечами, изобразить веселое, свойское простодушие: о чем вы, мол, мужики?.. Еще не произнесенные слова превратились вдруг в набор постыдной бессмыслицы...

— Вась, — не дожидаясь, обратился небритый к одному из стоявших рядом. — Отвези писателя, куда ему нужно...

Не исключено, что у меня на мгновение отвисла челюсть. Если бы кто потом мне это сказал, опровергнуть бы я не смог. Вот уж чего, признаться, не ожидал. Да еще от подобного типа. Откуда он мог меня знать? Где-то видел? Неизвестным чутьем вычислил? Раз-другой меня показывали по телевизору, но когда это было! И передачи были не для та-

ких... Подобия догадок беспомощно подергались в мозгу и тут же угасли...

Вася оказался тем самым, с обожженным лицом — поджарый, длиннорукий, подвижный. Голова прикрыта была бейсбольной шапочкой, виски поседелые. Обширное багровое пятно не позволяло точно определить возраст. Правая ноздря совсем была изуродована рубцом, край верхней губы подтянут к ней, оттого рот казался постоянно смеющимся. Что-то в движениях, во всем его облике было подстать этому неестественно оживленному выражению: разбитная, веселая, немолодая уже обезьяна. Голова и плечи на ходу едва заметно подергивались в такт неслышному танцевальному ритму. Зеленые пятна камуфляжных штанов хранили воспоминания о джунглях. Махнув приглашающе рукой, он повел меня к своим «жигулям». Потрепанным видом они странно напоминали хозяина. Я шел вслед за ним, по пути проверяя на ощупь деньги в кармане: хватит ли у меня?

— Вам куда? — спросил, открывая мне дверцу, Вася.

Я назвал адрес. Улицы он не знал, пришлось уточнить район.

— Ого! — присвистнул он. — Дальний конец.

— А сколько вы возьмете? — поинтересовался я осторожно.

— Но проблем, — обернул он ко мне свою постоянную обезьянью гримасу. — Обслуживание за счет фирмы.

Мотор заработал. Происшедшее оставалось мне до сих пор малопонятно, и все же отказываться не имело смысла. Чего было бояться? Довезет, и хорошо. В крайнем случае, если не хватит, найду деньги дома.

— Имеете интерес к нашим местам? — полуобернувшись с хитроватым подмигиванием, пригласил к разговору Вася. Это было подмигивание понимающего заговорщика. Он был явно из породы общительных водителей, такие не допустят, чтоб пассажир скучал наедине со своими мыслями. (Только что вспомнилось одно место в оставленной дома работе, шевельнулась в уме намекающая идея, надо бы удержать, пока не растаяла. Но попробуй с таким не отзовись).

— Здесь было раньше громадное производство? — рассеянно произнес я вместо ответа. Спросить на самом деле хотелось бы про другое: про того небритого толстяка, вот кто меня интересовал. Что-то меня удерживало. Как будто, выясняя, можно было неосторожно выдать совсем ненужное.

— Ну! Не то слово! — охотно согласился Вася. — Суперсовременное производство, это вы правильно говорите. А куда все оборудование рассосалось, интересный вопрос, да? И ведь ни один вагон за ворота не выезжал, спросите, кого хотите, любой подтвердит. Рельсы, видели, еще когда заржавели. Производство давно стоит. Цирк иллюзион, следи за руками, ни хрена не увидишь.

Он был не просто готов откликнуться на интересующую меня фельетонную тему — сам предупредительно ее угадывал, даже подсовывал. Не хватало еще принять приглашение в ту сторону. Войти в предлагаемую роль, подтвердить образ. Это мне было совсем незачем. Кто мог все-таки быть тот толстогубый джокер, откуда он мог меня знать? (И как теперь восстановить промелькнувшую было догадку?)

— А вот в этом цехе, в семнадцатом, был раньше конвейер? — спросил я зачем-то.

(Дался мне, в самом деле, этот конвейер, — отметил опять с запозданием. Уже прямо какой-то автоматизм, инерция. Прилипло слово и суется, влезает без надобности само собой. Пора, наконец, отделаться от этой липучки).

— Ну, как же без конвейера? — подтвердил он не слишком воодушевленно. Чувствовалось, что не такого вопроса он ожидал. Не мог сразу совместить с уже приготовленным пониманием. — Это конечно. Тут в каждом цехе был свой конвейер, не только в семнадцатом. Я же говорю, гигантское суперпроизводство. Цеха, сами видели, с футбольное поле, да? У шефа — вот кто умеет соображать — у него есть идея, как теперь говорят, проект: устроить тут крытый стадион. С сауной, тренажерами, ну, как теперь полагается. Только сначала надо команду восстановить. Тут же была раньше классная команда. Загородная база, ё-моё, какая богатая, вы

бы посмотрели, я к ним раз пять ездил. Денег тогда на футбол не жалели...

Ошеломительной была эта готовность переметываться от темы к теме по случайно подвернувшемуся слову, как перебирается муравей на травинку, стоит ей наклониться близко. Сравнить ее можно было разве что с водительской виртуозностью обожженного. Если называть виртуозностью сумасшедшую лихость, с какой он менял ряды, просовываясь поудобней туда, сюда, чтоб тут же сразу и повернуть. Зигзаги оказывались такими же прихотливыми, внезапными, как движение его речи, разговора он при этом не прерывал. Имущество — это, конечно, большое дело, но с ним разобраться была не самая большая проблема. Название команды — вот что успели перехватить другие, и попробуй его вернуть. Только шеф не тот человек, у него не так просто отхапаешь, он сам, когда нужно, с руками откусит. Название — это же имя, фирма, как теперь говорят. Без названия у команды другая цена. Как у штанов без лэйбла, я правильно говорю? Футбол — это теперь тоже бизнес. Ну, вы сами болельщик, я так и знал!..

Щетинистая округлая физиономия возникала на горизонте словесного потока, словно неясное светило, при любом повороте. Неужели такой тип мог смотреть литературную передачу?.. Района, где мы ехали, я не узнавал и не понимал направления. Вникать в завихрения этой болтовни было не просто бессмысленно — еще и опасно. Не отвлекался бы он лучше, смотрел как следует на дорогу. Но Вася вдобавок чуть ли через каждую фразу поворачивал ко мне возбужденный оскал — дожидался ответного подтверждения, и опасно было его долго выдерживать в такой позе.

— А что тут делали раньше? — попробовал я хотя бы вернуть его к оставленной теме.

— Где? — не сразу понял он. — А! Вы про цеха. Где что.

— Ну, скажем, в этом, семнадцатом?

— А! Цех оборудования который, что ли, назывался?

— Какого оборудования? — я не сразу оценил, что своим вопросом словно продолжаю его полувопрос.

— Конвейерного, какого же?

— Конвейер был в цехе, — было чувство, что я как бы преодолеваю возникшую вдруг в собственном уме вязкость. Нашел кого спрашивать. И зачем? Не будь у этого Васи такого простодушного вида, можно было бы подумать, что он надо мной издевается. — И оборудование конвейерное?

— Ну! — Он глянул на меня с недоумением, слегка, пожалуй, обиженным. — А как же без оборудования? Тут инструментальный был цех, еще всякие. Я, может, не совсем правильно объясняю. Шофер, как я, он ведь всегда был шофер, нам в цеха не то что въезжать, заходить даже не полагалось. Наши как-то даже поспорили, сколько их всего было, цехов. У всех получалось по-разному. Некоторые ведь вообще не имели номеров. А почему не имели? Ясно же почему. Секретность — такое дело. Без секретности раньше было нельзя. Кому не положено, тому знать незачем. Тут были такие названия, без пол-литра сразу не выговоришь. Тем более после того, как меня на моей же гранате подорвали, я две недели простых слов не мог вспомнить...

О, Господи! Ну как же было не уловить сразу природу этой лихой возбужденности, этой малоуправляемой речи? Не следовало к нему вообще садиться, — запоздало соображал я. Как можно таким доверять управление машиной? Становилось все больше не по себе. Я уже почти не слушал его, напряженно следил за движением, как будто мог в нужный момент перехватить у него руль. Граната досталась ему по случаю, пацан предложил за пять долларов. Держал ее при себе так просто, для устрашения. Мало ли для чего понадобится. Дом в деревне два раза пытались поджечь, соседи, кто же еще? Материнский был дом, он пробовал заняться там фермерством. Дом-то устерег, и скважину для колодца сделал, но бензин в скважину все-таки подлили, шесть коров так и полегли на покосе. Нет, в деревне бизнеса быть не может, там этого никогда не дадут. Соседи, кто же еще? Продать дом удалось за неплохие наличные, и ведь никому про эти деньги не говорил, секретность соблюдать научился, гра-

нату вез с собой, под сиденьем. Посреди дороги прижал к обочине вот такой мерседес...

— Ну, ...! — он резко дернул в сторону руль, едва избежав столкновения. — ...! — выматерился с наслаждением еще раз. — Нарочно ведь подставляет бок, ..., чтоб я по нему чиркнул. А потом устроят разборку, расчет потребуют без милиции. Видали, какие там лбы сидят? По обычной таксе от них не откупишься. Но меня теперь тоже так просто не сделаешь. Говорить им бы пришлось не со мной, успели, гады, сообразить. — Он сумел сверх ожиданий вернуться в спокойный ряд. Я устало расслабился вместе с ним. Подробности давнего происшествия для меня остались неясными; возможно, я что-то упустил, но, может, он сам потом мало что мог про них вспомнить? Очнулся уже возле горящей машины, сам обгорелый, контуженный. О деньгах нечего и говорить. Он бы и себя не вспомнил, не подбери его шеф. Вернул, можно сказать, к жизни. Для фирмы ведь человек, как он, был самым подходящим работником. Способности вести машину на полном автомате у него было уже не отнять: за год ни единой аварии, ни царапины, и это при таком-то движении, представляете? Голова, конечно, до сих пор не вполне пришла в порядок. Но в таком повреждении оказалась как раз своя польза — было, в самом деле, чем восхищаться. Самая правильная организация, когда не объясняют ничего лишнего, только твою обязанность. Отвези туда, отвези сюда. Пусть кто хочет о чем спрашивает, — поворачивал он ко мне тот же свой неестественный оскал, — отвечай на любой вопрос с чистой совестью: ничего сказать не могу. То есть сказать могу что угодно, только ведь не всегда потом повторю...

Движение ближе к центру все больше густело, мы продвигались теперь в сплошной медленной пробке. Машины слева и справа то и дело раздраженно сигналили — отупелое, как я, стадо. Я незаметно потрогал дверную ручку — не выскочить ли, пока стоим? Ручка не поддавалась...

В каждом бизнесе должна быть секретность, как же без нее? — машина время от времени останавливалась, но не Вася. Раньше на ней одной умели хорошую кормушку

устроить. Она же была не сама по себе. За нее полагались надбавки, снабжение, сами знаете, что. А главное, разных ненужных проверяющих можно было не подпускать, тоже имело смысл, да? — (Со значением поглядывал на меня). — Что там делают, чего не делают, сколько тратят — посторонние пусть не лезут. Ограниченный допуск — великое было дело. Кто мог, себе старался устроить. Это раньше умели классно. Вот: отгородили наглухо цех от цеха, каждый знай свой отсек. Твое дело выполнять операцию. Положи, что сделал, на ленту — пойдет дальше своим ходом. Куда, зачем — не твое дело. Правильно?..

— Если есть кому кончать, — усмехнулся я. Над самим собой, над кем же еще? Над померещившейся и ускользнувшей опять догадкой...

— В каком смысле? — уставился на меня Вася. Я, видимо, не заметил, что пробормотал это вслух.

— Ну... должно же из полуфабрикатов что-то составиться, — спохватился я объяснить. Он смотрел на меня, все еще не понимая. Нам обоим, наверное, лишь казалось, будто мы говорим на одном языке. Машина впереди двинулась, нельзя было задерживаться дальше. — Я имею в виду, должен же быть в конце какой-нибудь сборочный цех?

— Это конечно! — Он облегченно стронулся с места. — Вы такие дела знаете лучше меня. Сборочный, разборочный. Лишь бы за работу платили, правильно? Мудаки здесь сидели восемь месяцев без зарплаты, держались за свой, как вы сказали, конвейер, когда уже не за что было держаться. Кого могли, выпихивали раньше срока на пенсию. Так они бастовать собирались, представляете? Е-мое! Кому их забастовка мешала?..

Нет, он-то был, само собой, не из тех, он ни забастовки, ни пенсии дожидаться не стал. Несчастный взрыв словно лишь аккумулировал непроявленную прежде энергию, дал ей выход. Сам не подозревал, сколько ее в нем, этой энергии. До контузии он себя так не ощущал. Есть руки, есть ноги, живые деньги только лови. Шеф не запрещал подрабатывать на машине в свободное время. Никогда так раньше не жил.

Жене вот недавно стиральную машину купил. Советовали самсунг, но он купил канди. Немного дороже, но европейские, говорят, надежнее. Хорошая фирма, как вы думаете?..

Я лишь машинально кивал головой, соглашаясь. Что я еще мог? Он говорил со мной, как с человеком, способным отличить одну фирму от другой. «Жигули», конечно, старье, но иномарку бы сразу украли, надо сначала оборудовать надежный гараж, правильно?.. Играло включенное радио. Мы продвигались медленно, порциями, но продвигались. Когда-нибудь должны были добраться. Подробности небывалого шоппинга мешались с попутной рекламой. Кухонный комбайн мог выполнять двенадцать операций, если поймешь, зачем они бывают нужны, электронику в ассортименте лучше всего покупать на оптовой контрабандной толкучке, цены баснословно дешевые. Кайзер, канди, аристон, кто не с нами, выйди вон. Продукты, названий которых прежде не слышали, отзывались удовлетворенной отрыжкой не в желудке — в самом бурлении слов. Без прежнего производства воздух стал только чище, это все замечают. Трава стала расти, даже с цветочками. На территории двенадцатого цеха остались пруды, так теперь там фирма рыбу разводит. Карпов в любом магазине можно купить. Одна тетка продавала с лотка даже форель. Я спрашиваю: что за рыба? Никогда такую не видел. Говорит: фо... ну, фо-рель-ё-морель...

Машина, опять едва успев тронуться, затормозила так резко, что я чуть не стукнулся лбом о стекло. Постовой милиционер дал своей палочкой знак остановиться. Остановить Васю следовало, конечно, несколько раз прежде, но какие он нарушил правила на сей раз, я сказать бы не мог. Не автомобилист, что говорить, не понимал простейших вещей. Вася жестикулировал возбужденно, показывал то в одну сторону, то в другую, милиционер ограничивался ленивым пожиманием плеч. Теперь можно бы и улизнуть, — прикинул я запоздало, — только незаметно уже не получится. Вася возвращался, еще более возбужденный.

— Ну, гады! Ну, сволочи! Каждый месяц новых тут ставят. Нарочно, что ли, меняют? Прямо как премьер-министров.

Ведь это не успеваешь приспособиться, у каждого своя такса. Должна быть норма, правила, без этого же бардак. Бензин, говорит, дорожает... а, б.., чуть не проехал, надо же заправиться, пока тут дешевле...

Нет, это уже перебор, — тоскливо признавал я. Поездка получалась не растянутой — безразмерной. Давно пора было ее закончить. Хотя бы убрать избыточные словоизлияния. Все, на этом отключусь. Больше вместить я не мог. На автозаправочной станции собралась очередь: о близком подорожании знал не один Вася. На метро и автобусах с двумя пересадками я добрался бы, наверно, быстрей...

И словно в подтверждение, у поворота в наш двор, я увидел знакомую джинсовую спину. Мой Павел Ильич, проделавший ту же дорогу обычным транспортом, поспел раньше нас. Только на последнем повороте мы его все-таки обогнали. Цену за поездку Вася вначале отказывался даже назвать, но когда я сам предложил ему, взял деньги охотно. Развернулся по обыкновению лихо. И тут я увидел, как он затормозил, остановился возле входившего во двор Павла Ильича. Открыл дверцу, выскочил к нему.

Это было похоже на нечаянную встречу со знакомым — то есть, как можно было понять, былым сослуживцем. По тому самому предприятию, возле которого я время назад увидел своего Павла Ильича... в самом деле, это был, видимо, все-таки он. Значит, не все следовало считать просто моим, так сказать, сочинительством? По жестикуляции было видно, что Вася вдохновлен встречей. Павла Ильича, как я мог ощутить, она не особенно обрадовала. Он слушал обожженного знакомца хмуро, сам не отвечал. Вася вдруг показал в мою сторону, объясняя что-то. Я поспешил укрыться в подъезде...

Да уж! Дописать эту сцену было нетрудно. Велико ли удовольствие встретить человека, настолько восхищенного обрушившейся на всех жизнью, настолько не тосковавшего по прежней, привычной возможности обеспечивать себе заработок честным, законным трудом? Это перед женщиной, со-

биравшей хлебные корки по мусорным ящикам, можно было тешить себя ощущением превосходства. Если еще помогали дети. А кто ты был перед этим бомбилой с его несравненными заработками, японской электроникой, итальянской стиральной машиной, с неустанным сиянием этого жизнерадостного оскала? У самого от прежних времен, небось, только и остался какой-нибудь туркменский ковер да телевизор львовского производства. В самом деле мудак. Пробовал, значит, бастовать, лишь бы разрешили дальше стоять у конвейера, улещивали словами про класс-гегемон, снимали в кино, над которым такие вот отступники, сволочи теперь насмехаются. Не зря ведь в них, если на то пошло, стреляют, даже вот подрывают. Законными способами такие заработки не достаются, это мы давно знаем...

От чьего, однако, имени ты сейчас стал разоряться? — вдруг остановил я движение пера. Надо же соблюдать единство взгляда. Кто из этих двоих показался тебе не то что ближе — понятней, в чью поддержку и ободрение хочется вспомнить доводы? Ладно, в воображении можно представлять себя кем угодно, но ведь как оказался перед непонятными охранниками, с кем вдруг проявилось сходство — в повадке, в покорной позе? Натура себя проявит сама собой, ее не подменишь. Да если присмотреться: многим ли твоя жизнь отличалась от жизни любого конвейерного трудяги? Ежедневное, неподвижное, однообразное высиживание, как сейчас, все за тем же столом. Большую часть жизни ухитрился, допустим, просуществовать на вольных, как говорится, хлебах, в обеспеченный разряд не угодил, перебивался неосновательной поденщиной. Но не более чем в рамках, допущенных государством. И считал эту жизнь вершиной возможных желаний, разве нет? Авантюрные варианты всегда казались сомнительными, это оттиснулось в подсознании. При том, что масса людей держалась в этой жизни сплошными отступлениями от закона, иначе сама страна не выжила бы. А ты до сих пор не можешь забыть детский стыд за огурец, украденный с чужой грядки. Соседка поймала с поличным, привела к маме. Ну? Посмотри на себя. Таким

и остался. За всю жизнь не сумел ничего толком украсть. Кроме листков бумаги да скрепок давным-давно, по месту недолгой службы. Больше и негде было, и нечего. Вот и вышло из тебя, что вышло. Паршивенького ковра, и того дома нет. Тебе ли восхищаться авантюрными приключениями? А ведь как читались когда-то книжки про суровых купцов, которые снаряжались в дальние путешествия, зная, что в любой момент их караван на суше или на море может подвергнуться нападению разбойников, кривоглазых пиратов с повязками на отсутствующем глазу! И сами они умели за себя постоять. Как нравилось лихо распевать песни про тех и других! Нынешний обожженный выглядел, конечно, не так картинно, о мордатом небритом джокере вообще не мне говорить. До него не добраться. И не мой это, в конце концов, жанр. Но все-таки, все-таки... Англичанин Рескин, помнится, разделил всех людей на две основные расы (так он и выразился: расы): расу игроков и расу работников. Не стоит сразу это опровергать, какие-то различия заложены, возможно, в саму нашу природу. У каждого надо признать свое достоинство. Но мне как будто хочется совместить то и другое. Чем окажется унылое, изматывающее кропанье, если оно не соединится с игрой, не озарится внезапной проясняющей вспышкой, желанием вместить, понять всех?..

Вспомнилось, как в лесу меня однажды отвлек от мыслей внезапный переполох. Возбужденно затрещали, разлетались дрозды. Я задержался взглянуть. Большая серая ворона постепенными шажками продвигалась по траве среди кустов. Всем своим видом она старалась показать, что прогуливается просто так, никуда особенно. Дрозды, конечно, не хуже меня поняли, почему на самом деле она не летела, а шла, куда пробиралась. Они стремительно проносились над ней — авиаторы назвали бы их полет бреющим. Ворона время от времени, предупредительно защищаясь, вскидывала кверху, в их сторону, клюв, но осторожное движение продолжала: шажок, другой — к невидимому для меня гнезду, где лежали, наверно, яйца, а может быть, уже вылупились птенцы.

Глупей всего оказался короткий момент моего сомнения. Шевельнулось, но не сработало сразу что-то вроде порыва защитить, воспользоваться своим человеческим превосходством, отогнать разбойницу. А та вдруг на меня оглянулась, коротко задержалась взглядом — взглядом домушника, выясняющего: опасаться непрошеного свидетеля или нет? Устранить меня было не в ее силах — но она как бы подмигнула, то ли приглашая в сообщники, то ли уже таковым считая. Мол, полакомимся вместе, а? Кушать-то надо, как ты думаешь? И не дожидаясь подтверждения, двинулась дальше.

Этот взгляд можно было назвать наглым, но я ощутил в нем свою правоту. Что можно разрешить, вмешавшись в природные отношения? Одним надо защищать свое потомство, другим добывать пропитание, — говорил этот взгляд. Всем надо жить. Так заведено до тебя, так и будет. Уйдешь, все повторится, не здесь, так в другом месте.

От решения я в следующий момент оказался избавлен. Ворона не выдержала натиска дроздов, поднялась, тяжело взмахнув крыльями...

Я сижу на лоджии в одних плавках, пользуясь теплой погодой. Отложил в сторону листки с разрозненными записями, которые так и не соединялись ни во что целое, потягиваю все еще не вполне удовлетворяющий меня кофе. Жена уехала на дачу к дочери, люди где-то плещутся в теплой воде, наслаждаются настоящей жизнью, а я считаю своим долгом изображать добросовестного работника. Ворона пролетела невысоко, опустилась на край опустошенного мусорного контейнера. Может, та самая, узнать трудно. Каркнула разочарованно, злобно.

— Что, и тут ничего тебе не досталось? — вяло посочувствовал я. — Успели утром вывезти все на свалку. Вот куда бы тебе надо. Давай, давай, есть же где поискать.

Ворона, чуть присев, грузно поднялась, улетела. Она и без меня знала, что делать. Городская птица всегда найдет себе пропитание. Человек и для них постарался. Хотя на свалке, наверно, тоже непросто, тоже своя борьба. А людям, что ли,

проще? В благоустроенных человеческих обществах ищут способы избавить своих сочленов от агрессивной добычи пищи. Не говоря о копанье в отбросах. Там это называется социальным обеспечением и защитой. В животном мире тоже кому-то достается беззаботная сытая жизнь. На птицефабрике, например. Только неси яйца, клади на ленту, вот вся работа. У всех разные возможности, надо это признавать. Кто-то доволен стабильностью, может расслабиться, кто-то должен искать, добывать, отстаивать, драться. Наивно говорить себе, что справедливо защищать маленьких, слабых. Не станешь же ты защищать червяков или мошек, которыми те же дрозды станут кормить своих сохраненных птенцов? Ты просто отдаешь предпочтение тем, кто кажется полезней с твоей, человеческой точки зрения. И преспокойно станешь употреблять в пищу конечности тех же кур. Если не вегетарианец. Кто-то должен быть жертвой, приходится и это принять. Если, конечно, жертвой оказываешься не ты и не твои близкие...

У, в какие общие места тебя занесло, — снова остановился я. Некоторые считают стабильность предвестьем упадка. Требуется подпитка той самой новой энергией, рациональному объяснению тут не все поддается, морализаторство оказывается инфантильным...

На дороге, ведущей во двор, опять появился мой Павел Ильич. Он шел, видимо, из магазина с полиэтиленовой сумкой в руке, аккуратный, неторопливый, задумчивый. Жара потребовала заменить молодежную джинсовую курточку на клетчатую рубашку с короткими рукавами. Позади, шагах в десяти от него, медленно плелась усталая дородная женщина в темном цветастом платье. Вдруг он повернулся, быстрым шагом направился к ней и ударил ее по лицу...

Лишь мгновенье спустя до меня дошло объяснение этой странной сцены: женщине стало нехорошо, она неслышно для меня позвала его, он поспешил привести ее в чувство уже опробованным похлопыванием по щеке. Дальше они пошли под руку.

Это была его жена, только сейчас я понял. Хотя ведь и прежде уже не раз встречал их, но то ли каждого по отдельности, то ли воспринимал порознь. Женщину нельзя было во дворе не заметить, она была из числа шумных, активных, такие не упускают случая указать встречной мамаше, что детей одевать надо не так, надолго останавливаются у подъезда, чтобы обсудить с соседками очередное проявление человеческого несовершенства. Голос ее выделялся среди прочих — голос женщины, оскорбленной неспособностью других понимать очевидное. От такой озабоченности и возмущения могло и вправду страдать сердце.

Время от времени я любил упражняться в мысленных реконструкциях: всматривался в немолодые, обесформленные временем лица, стараясь выявить как бы внутри них прежние, уменьшенные, детские черты. Из этого, отечного, располневшего, уже едва проглядывало личико худенькой, остроносенькой девочки-активистки, какой она осталась, должно быть, на школьных выцветших фотографиях. С Павлом Ильичом это удавалось совсем просто: он таким и был, слегка скуластым, с маленькими ушками — в меру шустрый, но всегда деловитый, исполнительный мальчик. Паша...

И тут же — по самоцепляющейся цепочке — вспомнилось, как однажды она, эта самая женщина, стоя на тротуаре перед нашим домом, звала кого-то сверху, чтоб подошел к окну: «Паша!» Да, это она кричала, голос не спутаешь ни с каким другим, и кричала именно так...

В сознании внезапно соединилось: она звала его, своего мужа. Получалось, что я вовсе не придумал имя вымышленному персонажу, так, что ли? Дал знакомому человеку услышанное на самом деле? А оно действительно принадлежало ему, я только вообразил, что руководствуюсь своей сочинительской прихотью...

Какую-то странную смуту внесло в мою душу это нечаянное и ничего не значащее открытие. Было чувство, будто я неосторожно пустил на свои страницы лишь отчасти вымышленный, но отчасти все-таки реальный персонаж, а он

захотел обосноваться здесь уже своевольно, оказаться более настоящим, чем предполагал допустить я. Он ведь мне вообще, если вспомнить, по-настоящему был не нужен. Так, дал повод поразмышлять над подброшенным словом, не более. Показалось возможным использовать образ, чтобы через него прояснить, понять что-то не просто в себе. Общее всегда можно найти между собой и любым двуногим. Вникать в его неизвестную жизнь я не собирался. Мне совершенно не нужно было выписывать его характер, историю, вглядываться в его черты, представлять, как он просыпается утром, сладко, со вкусом почесывает в паху, видит рядом голову жены в косынке поверх бигуди, полуоткрытый некрашеный рот, узнает в собственном рту все тот же тоскливый утренний вкус, а впереди еще новый день с мыслями, происшествиями, за ним другой...

Не собирался, нет. И незачем ему было себя навязывать. Только пусти его, все более настоящего — дойдет до того, что однажды он сам тебя спросит: а при чем, между прочим, в этом повествовании твое неопределенное «я»? Кто ты тут, если разобраться, такой? Не более, чем личное местоимение, первое лицо единственного числа, разве нет? Куда более условное, чем я. Даже чем этот разукрашенный Вася. Твоего личного местоимения не увидишь, не ощутишь. Ни внешности, ни зубной боли, ни проблем с желудком, или что там у тебя? Рассказал бы. Нет, одна умственная озабоченность. Почему бы не поговорить действительно о своей жизни, о том, что составляет ее повседневное содержание? О семье, о здоровье, много о чем. Вот, допустим, младшая дочка выходит замуж, у ее жениха, говорят, проблемы с армией. Чем не материал? Стоило бы обсудить, это у всех найдет отклик. Или тем более про жену. Ведь есть у тебя жена? Почему ее на этих страницах совсем не видно, хоть показал бы?..

Ну, ну ну. Тут, давай, уже притормозим. Этого я вслух обсуждать не намерен. Тем более письменно. Жена таких разговоров не любит. Хотя скрытно она, допустим, присутствует во всем, что я написал... нет, молчу, молчу. Подробностей жизни не вместишь ни в какой объем. Тем более жанр, как

уже сказано, не тот. Надо же соблюдать единство темы. — Э! О каком ты единстве? — оживает вновь так и не заткнувшийся голос. — Сплошные отступления, о том, о сем, вот тебе и весь жанр. Ну расскажи хотя бы, как на той неделе ехал с женой на дачу к дочери и в вагон ввалились полсотни молодчиков в беретах, черной форме с портупеями, с нарукавными повязками РНЕ. Доморощенные фашисты. Двое уселись на скамью рядом, совсем юнцы, аккуратно стриженые, не наглые. Зевали, жаловались, что опять в выходной не удалось выспаться. Погнали на какие-то свои сборы. Напротив сидел их начальник, темные очки, лицо тонкогубого, монашески истощенного, не способного улыбнуться погромщика. Не успевшего пока до погрома дорваться, осуществить мечту жизни. Ты на них не оборачивался, изучал пейзаж за окном. А что еще можно было поделать? Вагон так и дышал спокойствием. А они, возможно, интересовались в это время твоим профилем и, надо полагать, вполне были довольны собой. Рассказал бы, как ты в это время себя чувствовал, о чем думал...

Как тут можно себя чувствовать? Нечем гордиться, — признаю я. И говорить нечего, без слов понятно. Но я же сейчас не исповедальный роман сочиняю. Ставить перед собой зеркало мне здесь незачем. Сомнительное, между нами говоря, удовольствие — разглядывать свое отражение. Оно почему-то никогда, право, не кажется мне вполне похожим. Хуже бывают только фотографии. Положишь две рядом — разные физиономии, и ни одну не хочется признавать своей. Чем хорошо отражение: им все-таки можно распоряжаться. Недаром же в детстве таким удовольствием было показывать себе гримасы. Да если еще попадется стекло с явной кривизной: передвигаешь отражение через нее, то увеличиваешь, то уменьшаешь лоб, подбородок, неандертальские челюсти. Интересней бывает себе удивляться, чем обнаруживать и без того известное. Вроде бы ты — и одновременно не ты...

Не начинаю ли я слегка именно этим грешить? Может, в самом деле правильней отказаться от сомнительного местоимения? — задержался я на идее. Позволительно будет досо-

чинять себя, как того же Васю, добавить красок, дать полную волю фантазии. Писать станет как-то свободнее. Проще будет откровенничать, подмигивая читателю между строк: а вы думали, это на самом деле я?..

Вот, уже вообразил и читателя. Еще и работы не существует, и неизвестно, что из нее получится, получится ли вообще, а ты заранее строишь кому-то глазки. Давно ли, как говорят, опростался, результат уже сколько времени лежит в журнале, и никакого, между прочим, ответа. Знают ведь, сволочи, телефон, могли бы позвонить. Дождешься... О, какое это было переживание в свое время! Как начинало колотиться сердце при одной мысли о предстоящем звонке, как ты суеверно его откладывал, выгадывал благоприятное сочетание обстоятельств. Напечатают, на напечатают? Это могло изменить жизнь, решить судьбу. Так казалось. А теперь — ну, допустим, все-таки напечатают, что это даст? Деньги, как сейчас говорят, почти символические (хотя и они нужны). Имя вряд ли прибавит. Вот, говорят, тираж последней книги до сих пор не распродан. А ты все не остановишься, запустил в движение еще одну. Опять получается то же: процесс должен быть завершен, результат выдан. Как это: работать без результата? Все равно что жить без смысла...

Насчет смысла, пожалуй, лучше не начинать. Это смотря что считать смыслом, что считать результатом. Попробуй пойми, почему Музиль до самой смерти так и не смог дописать свой роман...

У одного моего литературного героя тоже остался незавершенный замысел. В отличие от себя, я сделал его, человека пишущего, совсем одиноким. Одна за другой рвутся связи, семейные, житейские, социальные, держаться приходится лишь своим усилием, не надеясь на поддержку и понимание. Разговоры по телефонам, оставшимся в записной книжке, оказываются необязательными, пустыми. Давай встретимся, соглашаешься на прощанье, и заранее знаешь, что никакой встречи не состоится.

Что такое дружеские отношения? — прочел он однажды у философа Мераба Мамардашвили. Их можно описать «как отсутствие человека перед лицом самого себя, поскольку, когда мы общаемся с другом, наша дорога в собственный мир закрыта». Я отчетливо представил себе, как мой герой уперся в эту парадоксальную, требовавшую прояснения мысль. Сам хотел бы в ней разобраться. Мераба об этом уже не расспросишь, а ведь он всегда казался открыт для простого застольного общения и на вопросы отвечал охотно, доброжелательно...

Словом, герою вдруг понадобилось прояснить для себя с пером в руке, что может означать одиночество. Одиночество вынужденное, житейское, несчастное, и одиночество добровольное, может быть трагическое, которого не следует бояться — оно бывает условием вершинных достижений, творческих и человеческих. «Быть солидарным и сотрудничать с другими могут только одинокие люди, ставшие лицом к лицу с бездной в себе», — эту мысль он тоже нашел у Мамардашвили, так на ней и застрял...

Жаль, что не хватило у него пороху. Я сам, видно, по-настоящему пока не дорос, не дозрел до способности дышать на такой высоте. Долго без простых житейских прикосновений не выдержишь, тянет спуститься на уровень попроще. Не оставляет, конечно, мысль когда-нибудь к этой теме вернуться, но о каком самоограничении говорить, если даже отсутствие злополучной, черт бы ее взял, кофемолки до сих пор ощущается, как неудобство?..

Да, подоспел все-таки срок забрать ее из ремонта, надо было покончить хоть с этим.

Казалось, если уже раз испробовал дорогу, можешь у прохожих больше не спрашивать. Самоуверенность, как всегда, подводила. Дома были те же самые, те же надписи на тех же стенах, может быть, лишь размножились вегетативным путем или оказались не все замечены в прошлый раз, но дорогу пришлось искать еще дольше. Возвращение в знакомый, безнадежно повторяющийся, засасывающий сон, где

никогда ничего не может получиться: не найти нужную страницу в книге, упавший на землю ключ, за дверью оказывается почему-то опять не та, конечно же, не та комната. Несколько раз мне удавалось даже проследить, как такие сны сочиняются — их сочинял именно я сам, и происходило в них то, чего я ждал: почему-то именно неудачи. Но при этом мерещилось, что нужное все-таки прячется где-то тут, близко. Разрешение ускользало. Почему несравненно реже бывали сны, когда удавалось что-то найти, когда получалось что-то, способное осчастливить? Говорит ли это обо мне, свойство ли это снов? И почему в миг счастливого свершения вдруг неодолимо тянуло проснуться, как будто я во сне сознавал, что быть такого не может? Впрочем, и чувство затянувшейся невозможности, неудачи там же, во сне, становилось невыносимо — усилием воли я заставлял себя вынырнуть на поверхность.

Внутри этого сна я уже почти готов был к тому, что меня ожидало: заказ не был выполнен к сроку. Не поставили каких-то запасных частей из-за какой-то границы. Мне надо было просто позвонить, прежде чем ехать. А как я мог это сделать, если на бланке квитанции номер телефона, оказывается, не был даже указан? Не догадался вовремя обратить на это внимание, не возникло естественной мысли, что могут ничего просто не сделать. Приемщица, новенькая, молоденькая, упакованная, как теперь положено, под журнальную картинку, возмущалась безобразием вместе со мной. С извинениями, охами, ахами исправила на квитанции недосмотр, попросила позвонить через неделю, не больше, обращая на меня взгляд умильных, нарисованных, кукольных глаз. Выучка была тоже новая, запрограммированная, а в вежливой повадке и голосе угадывалось безразличие автоответчика. Что мне оставалось? Чертыхаться, объявлять, что я с такой фирмой больше не стану связываться? Очень их это волновало! Эфемерные сомнительные создания, неизвестно застанешь ли их, придя в следующий раз...

Мысль о том, что и этот раз не последний, заранее портила настроение, как необходимость еще одного непредусмот-

ренного визита к зубному врачу. Яркое солнце на улице заставляло щуриться. Я прошел рассеянно несколько шагов, прежде чем опять спохватился, туда ли иду. Смущало невнятное воспоминание. Как будто меня автоматически потянуло в ту же сторону, к тем же воротам, что в прошлый раз. Вот уж куда было незачем. Не хватало снова кого-нибудь там встретить. Потоптался, уточняя ориентацию, и повернул обратно.

Уверенности, впрочем, больше не стало. Нарастало, наоборот, чувство, будто меня направляет, подталкивает логика все того же насмешливого сновидения. Черный сверкающий «мерседес» медленно обогнал меня. Показалось, он замедлил ход специально. Кто-то смотрел на меня с переднего сиденья из-за тонированного стекла. Разглядеть лицо было трудно, однако я почти готов был его узнать. Проехав немного, «мерседес» остановился у дверей двухэтажной стандартной постройки с зарешеченными окнами. Из него вышел так и не побрившийся толстяк в спортивных шароварах и куртке со знакомой надписью и рожицей джокера на груди. Машина укатила дальше, но джокер в дверь сразу не вошел, остановился. Он смотрел на меня, дожидаясь, пока наши взгляды встретятся.

Уже то, что я позволил себе его заметить и не скрыл этого, да еще невольно замедлил шаг, то есть замешкался в нерешительности, поставило меня в положение, которое шахматисты называют цугцванг. Приходилось делать вынужденный ход, двигаться дальше. Отводить вороватый взгляд было теперь нелепо, свернуть в сторону некуда. Джокер спокойно дожидался, пока я приближусь. Он поздоровался первый со слабой, но, пожалуй, приветливой — не улыбкой — усмешкой. Не откликнуться было нельзя. Поздороваться может и незнакомый, никто тебе не мешает пройти, если хочешь, дальше.

— Здравствуйте, — остановился я. И не удержался все-таки от вопроса. — Вы со мной здороваетесь, как будто меня знаете?

— Я многих знаю. И меня некоторые знают, — он ухмыльнулся уже откровенно. — Но вообще-то у меня есть ваши книжки.

Бог ты мой! Почему не пришло сразу на ум самое простое? На некоторых обложках имелась моя фотография, только и всего. Нет, подумал первым делом о телевидении. Неожиданностью было просто встретить здесь человека, читающего книги, тем более своего читателя. Тем более в таком обличье. Не преодоленный до сих пор сдвиг взгляда мешал сразу разрешить какое-то несоответствие. «Мерседес» можно было совместить со щетинистой порослью, модные мешковатые брюки лишь издалека напоминали спортивные шаровары, да и то если понимаешь в моде, как я. Но этот запах тонкого мужского одеколона, а главное, совершенно интеллигентная интонация!..

Он смотрел на меня спокойно, усмешка была одновременно доброжелательная и какая-то грустно-снисходительная.

— Я смотрю, вы сюда зачастили. Интересуетесь чем-то?

— Что значит интересуюсь? Мне пришлось мотаться сюда по делам. Кофемолку из ремонта никак не могу здесь получить.

— А... Кофемолка так кофемолка. Был бы повод, правда? Или все-таки нашли что-нибудь для очередного сюжета?

— Почему вы о сюжете? — я ощутил раздражение, точно меня вынуждали глупо оправдываться. — Говорю же, кофемолку привозил вот сюда... где у меня тут квитанция? — Я движением головы показал себе за спину, одновременно зачем-то пощупав карман, однако квитанцию доставать не стал. Еще предъявлять доказательства! — Не успели в срок починить, потому я опять с пустыми руками...

Я говорил и все больше чувствовал, что самому не так уж стоило бы сводить все к житейскому объяснению. Мне, можно сказать, предлагали комплимент — стоило ли так отмахиваться? Так поспешно разочаровывать, обманывать заинтересованное читательское ожидание? Джокер продолжал смотреть невозмутимо.

— Да и какие тут возможны сюжеты? — решил я просто покончить с темой. — Интересного не больше, чем в любом квартале. Этот ваш шофер... как его зовут? Вася, да? — он мне по пути, правда, успел наговорить всякого — самому сочинять незачем.

— А! — понимающе засмеялся небритый. — Вы про нашего Карузо. Нашли кого слушать. Ему дай только распеться, потом прочищай уши. И о чем он вам успел натрепаться?

— Ничего особенного не выдал, не волнуйтесь, — теперь уже и я позволил себе усмешку. — Вам он пел, можно сказать, гимны.

— Мне? — переспросил Джокер с недоумением.

— А как же! Вы для него чуть ли не Бог. Но про здешние ваши дела разговора вообще не было. Я не спрашивал, а то, что он болтал, просто не имело смысла. Он даже не мог толком сказать, что здесь было прежде за производство.

— Вы этим интересовались?

— Говорю же, ничем я не интересовался. Он сам начал что-то травить. Получилось похоже на растянутый анекдот. Про какую-то непробиваемую здешнюю секретность. Когда в каждом цехе делают составляющие для неизвестного изделия, и никому при этом не положено знать, что делают в соседнем цехе. А главное, что получается в результате. Знать могли только те, кто работали где-то в последнем цехе, на сборке, так я его понял. Ну, а про него он вообще ничего сказать не сумел. И спрашивать не имело смысла. По-вашему, можно такое считать сюжетом?

Он пожал неопределенно плечами.

— Так себе. Можно бы придумать что-нибудь позабавнее. А что, это в самом деле насочинял для вас он?

— Насочинял, для меня! Почему у вас такие странные недоверчивые вопросы?

— Да как-то уж слишком получается в вашем духе. Не обессудьте, может, я ошибаюсь. Я замечал у вас слабость к интеллектуальным сюжетам, у которых не оказывается завершения. Нет, вы бы могли, конечно, придумать получше.

— Опять: придумать, придумать! Вот это же, — я показал рукой, — непридуманное? За этими стенами было действительно производство, самое настоящее. Кое-что от него даже осталось, я мог убедиться. Кофемолку при случае вам в следующий раз продемонстрирую. Другое дело, если сейчас тут больше найти нечего.

— Ну, у вас не очень современные представления. Бизнес здесь как раз в самом расцвете.

— Вы это серьезно?

— А что? Вы хотели бы посмотреть?

— Что?

— Завершающий, как вы говорите, этап производственного процесса. Вы чего-то как будто еще не можете сформулировать?

— Вы имеете в виду?... В смысле: разве этот цех еще действует?

— Говорю же: производство в расцвете. Прибыльное, как никогда. И оно будет процветать, пока не исчерпается материал. Так что? Провести вас?

— Разве мне можно?

— Со мной можно, — сказал он с усмешкой.

И, не дожидаясь, нажал кнопку переговорного устройства рядом с дверью. Наклонился, буркнул что-то неслышное для меня...

Была некоторая неловкость в том, что я до сих пор не узнал имени своего нечаянного знакомца — не было повода поинтересоваться. Продолжения я не предполагал. Про себя пока можно было все еще называть его Джокером. Раздался сигнал, позволяющий открыть дверь.

— А если у меня документов с собой нет? — зачем-то сказал я — как будто в надежде, что это может его затруднить и на этом все оборвется. Хотя документы я при себе с некоторых пор стал носить постоянно, опыт научил. В любой момент могли потребовать. Он посмотрел на меня молча, непонимающе вскинув брови.

В небольшом проходном помещении, освещенном мертвенным светом дневной лампы, сидел у телемонитора коротко стриженый крепыш в аккуратном черном костюме с галстуком; на выбритой угреватой щеке краснел длинный порез.

— Со мной, — коротко сказал Джокер.

Мы вышли во внутренний двор, зажатый с четырех сторон разновысокими зданиями. Подъезд и нижняя часть фасада самого большого из них, четырехэтажного, были отделаны зеркальным пластиком. Три блестящие дорогие машины стояли перед подъездом. Я не сразу спохватился выяснить, как они смогли проникнуть сюда, в закрытое пространство. Потом оглядываться оказалось и некогда. Мой провожатый уже нажимал клавиатуру очередного скрытого от взгляда электронного устройства...

Есть такие восточные постройки: к улице обращены неприглядные, без окон, глинобитные стены, однако внутренние покои за ними оказываются иной раз роскошные. Нарастающее любопытство смешивалось с ожиданием, уже немного тревожным: к каким это секретным глубинам мы приближались? Фантазия работала неубедительно. Коротко, на пробу возникало что-то похожее на кадры из ходовых фильмов: компьютерные дисплеи, уходящие в перспективу ряды хитроумных устройств, охранники на каждом углу.

Охрана действительно разрасталась внушительно. У очередных дверей произошла заминка, Джокер вполголоса что-то стал объяснять человеку в черном костюме с галстуком (к уху подведен белый пружинистый провод), показывая полужестом на меня — я скромно держался на отдалении. Послышалось имя Ирины, на которую он как будто ссылался. Этот непроясненный тип, похоже, не был здесь таким уж хозяином, каким хотел бы себя изобразить — кто он все-таки был? Карточный джокер, который в зависимости от ситуации может по желанию игрока представиться хоть королем, хоть шестеркой. Я словно привычно примеривал, тасовал возникавшие в уме варианты.

Еще один аккуратный крепыш ощупал мне грудь и бока детектором — проверяли, что ли, оружие? Ого, в место я попал действительно непростое. Правда, никаким даже отдаленным производством здесь пока все еще не пахло, тишина была безжизненная.

Витая лестница повела нас куда-то наверх. Мягкий серый палас лежал тут на полу, стены были отделаны дубовыми панелями. У дверей кабинета сидела секретарша. Я невольно задержал на ней взгляд — мне показалось, она улыбнулась мне. Приятно было видеть такую противоположность недавней приемщице: несовременная светлая коса, мечтательное, отсутствующее выражение лица. Улыбка ее на самом деле была обращена не ко мне — куда-то в пространство. Словно она вообще сейчас нас не замечала, прислушивалась к звучавшей лишь для нее одной музыке.

— Какая необычная девушка. Тургеневская, — сказал я, когда мы с Джокером вошли в пустой кабинет.

— Вы про кого? — он понял не сразу.

— Про эту секретаршу. Такое несовременное романтическое лицо. И эта коса. Какую она слушала музыку? Так была поглощена — как будто не на службе. Неожиданно здесь такую увидеть.

— Ну, вы даете! — Что-то в моих словах доставило ему удовольствие, он опять не усмехнулся — осклабился. — Вы все в своем репертуаре!

Широкие кремовые шторы были плотно задернуты, сквозь них проникал мягкий свет. Мой провожатый запыхался больше меня, ему потребовалось некоторое время постоять, чтобы привести в порядок дыхание. Посмотрел на меня, оценивая произведенное впечатление.

— Немного переведем дух? — сказал скорей себе, чем мне.

— Конечно, конечно, — согласился я. — Но вы же хотели мне что-то показать? — напомнил, не удержавшись. — Провести куда-то?

— А! Так уж вам сразу?.. Ну, если хотите, можно и сразу.

Он подошел к краю окна, потянул шнурок шторы. Открылся оконный проем во всю стену...

Макс Эрнст, вот как звали этого художника. У него были работы, выполненные в технике так называемой «декалькомании». Они начинались с хаотичных красочных пятен, наплывов, разводов, произвольно оттиснувшихся на холсте. Если бы можно было проследить, как зарождалась, развивалась мысль автора, когда он вглядывался в этот хаос, желая упорядочить его, осмыслить, какую получала подсказку, как это зрелище соединялось с пережитым, передуманным, что-то меняло, наращивало внутри, пока художник постепенно выявлял в нем, уточнял, обрисовывал подробные, более или менее осмысленные очертания! Из беспорядочных нагромождений, словно из грязевых наплывов, проступали на картине останки утерявших форму предметов, скелеты разрушенных сооружений, древесный сушняк вперемешку с коралловыми окаменелостями, ребрами, костями неизвестных существ; лошадиное копыто возникало среди навалов, череп фантастического животного с рогом на маковке. Внимательнее вглядевшись, можно различить там и сям разной величины фигурки, то ли человеческие, то ли кукольные. Эту свою знаменитую картину Эрнст назвал «Европа после дождя». Мировая война только еще набирала силу. На более поздней работе он не оставил даже намека на следы жизни: навалы, переплетения одних лишь механических форм, плоскостей с тающими игольчатыми углами, шипами, призрачными линейными соединениями. «XX век» — так он ее назвал.

Что-то похожее на такую картину, преображенную, объемную, разросшуюся в натуральную величину, до горизонта, простиралось внизу перед нами. На металлических поверхностях отблескивало, слепя, солнце — оно здесь выглядело безжизненным, тревожным, инопланетным светилом. Лишь поближе к окну можно было различить подробности сложных механических устройств, искореженные остовы и сочленения, опутанные толстыми кабелями и более мелкими проводами в разноцветной оплетке. Дальше все

сливалось в подобие фантастического пейзажа. Кромка темной зелени вокруг казалась такой же искусственной, неживой, как все прочее. Сосредоточив взгляд еще немного, можно было, как на картине Эрнста, обнаружить поодаль и крохотные человеческие фигурки, не вполне отчетливые. Возможно, они даже двигались, копошились — отсюда различить было трудно. Зато было видно, как там же, вдалеке поднимает длинную шею с маленькой хищной головкой механическое существо, напоминавшее ископаемого ящера с раздутым брюхом. В челюстях его трепыхались не до конца заглоченные металлические конечности.

Мы сидели с Джокером в кабинете, который выглядел не вполне служебным. На столе рядом с компьютером и телефоном в беспорядке валялись книги, журналы, художественные альбомы; книжные полки на стенах были загружены обильно и служили явно не для декорации. Прямо передо мной висела картина: испуганные голые люди блуждали среди разросшихся укрупненных предметов: причудливо изогнутых ложек, вилок, по щиколотку в вязком месиве — это растекался потоком фарш, который выдавливала громадная мясорубка. Кривой консервный нож неустойчиво завис над головой одного из людишек, в круглом карманном зеркальце отражался восхитительный вид с ручейком среди цветущей зелени.

Джокер снял куртку, под ней оказалась новомодная белая рубашка без воротничка. Частый ряд пуговок под горлом вызывал мысль о кнопках баяна. Назвать небритостью растительность на его щеках мог, конечно, лишь человек, до неприличия не настроивший взгляд на моду: это была наисовременная, умело обработанная специальной машинкой щетина. Щеки, послушно каждый день выскабливаемые, выглядели рядом с этой ухоженной порослью, наверно, такими же добропорядочно-устарелыми, как книги недавних лет. Вправду ли могло это больше нравиться женщинам? Вопрос ревнивого идиота. Что значит нравиться? От одной дамы я услышал, что ее возбуждает мужская лысина: есть что-то

эротическое в гладкой коже там, где у других волосы, хочется тронуть, погладить ладонью. Впрочем, она была, кажется, лесбиянка. Нет, в разговоре о вкусах, тем более женских, меньше всего стоит взывать к непосредственным чувствам. Вкусы определяют профессионалы. Как и в искусстве, кстати. Даже такая вот ожирелая одутловатость все заметней входила в моду вместе с культивированной небритостью; щетина на округлых щеках приобретала очертания чуть ли не окладистой бороды: сочетание солидной упитанности и артистичной небрежности.

Мы расположились за низким столиком, перед нами была бутылка превосходного французского курвуазье. С уютно засасывающих кресел можно было теперь видеть за окном лишь голое небо без единого облачка.

— Готовый синий квадрат, правда? — уловил направление моего взгляда Джокер. — Или, если чтить геометрию, прямоугольник. Предельная чистота, не замусоренная подробностями — этого, говорят, искали первые абстракционисты. Их можно понять. От перенасыщенного жизненного кишения начинает в какой-то момент воротить. Вот она, первозданность.

Я неопределенно промычал. Неприлично было совсем не откликаться, когда тебя угощали таким коньяком. Но и сказать ничего не получалось. Любые мои слова почему-то заранее казались дурацкими.

— А вас все еще занимает, мне кажется, скорей эта картинка внизу? — он взглядом показал на окно.

— Что вы имеете в виду? — спросил осторожно я.

— В одной повести у вас, я помню, живописалась этакая грандиозная свалка. — Джокер показал большим пальцем в сторону книжных полок за своей спиной. Неожиданно и почему-то не совсем приятно было представить там свою книгу. Раздетая догола в чужих руках.

— Ну, у меня свалка была другая, — вынужден был промямлить я. — И писал я это давным-давно.

— Не вас одного тянуло к таким современным пейзажам. Общее место! — подтвердил он удовлетворенно. — Я это вам

не в упрек. Все, как говорится, там будем. И мотивы вполне могут повторяться, без этого никому не обойтись. Но меня сегодня позабавил ваш разговор о завершающем этапе какого-то производственного процесса. Я даже удивился: неужели вам не пришло на ум самое естественное? Как будто вы не даете мысли зайти подальше. Перескочив необязательные подробности. Сборочный цех — все-таки не самая последняя стадия, разве нет?

— Это уже что-то по разряду символов, — поморщился я.

— Ну, конечно, символы не для вас. Они для вас слишком поверхностны, — усмехнулся он понимающе. — Да я же вам ничего не навязываю, не предлагаю. Мне показалась занятной игра возможностей. Хотя какие тут особые возможности? Движение идет только в одну сторону, все туда же, и все быстрей, все быстрей. Называется это прогресс или как еще? Знаете, мне как-то случилось с родственниками, — движением головы он показал вбок, на стену, — смотреть с вертолета на танки, назначенные в переплавку. Ровные ряды, как на параде. Они заполняли поверхность огромного поля, до горизонта, и не все можно было обозреть разом, даже с такой высоты, можете себе представить? Мы летели над ними и летели. Впечатляюще! Стада еще не устаревших металлических чудищ, просто стали не нужны, подлежали сокращению. Проблема была с переплавкой, этот металл было не так просто разделать, не хватало каких-то мощностей, что ли? Ну, нас с вами это не интересует, правда ведь? Проблемы технологии и бизнеса...

И присосался блестящими толстыми губами к бокалу, не сводя при этом с меня испытующего усмешливого взгляда.

Фотография упомянутых вскользь родственников висела как раз над нашим столиком. Ширококостное, с мясистым носом, грубо вылепленное лицо могло без объяснений сказать не меньше, чем обилие охраны и сторожевых устройств в здании, чем массивный, прикрывавший печаткой сразу два пальца перстень на руке, которой этот мужик обнимал за плечо миловидную, хрупкую рядом с ним женщину. В ее вз-

гляде можно было бы предположить выражение испуга: в этакую лапищу угодила; но нет, он был уверен, этот взгляд, уголок губы чуть тронут улыбкой. Кое-что понемногу начинало соединяться в уме: свалка за окном была частью разраставшегося бизнеса. Запечатленные на фотографии супруги находились сейчас по делам в Норвегии. Джокер был всего лишь братом этой Ирины, не больше. Официальной должности он тут не имел, это мне становилось ясно, вообще ни на какой службе не состоял, но для каких-то неофициальных занятий получил здесь в пользование кабинет.

От прямых объяснений он предпочитал уклоняться, ему нравилось подбрасывать намеки, недоговорки, которые следовало мысленно дополнять, толковать самому. Но без моих вопросов при этом вполне обходился. Превосходный коньяк все заметней оказывал свое действие, ему явно хотелось поговорить. Почему именно со мной, об этом я подумал не сразу.

Отношения этой парочки до сих пор оставались ему, видимо, неясны, тут, чувствовалось, что-то его задевало. Оказалось, он по-настоящему не знал своей младшей сестрицы. Детские воспоминания в таких делах не срабатывают, они из другой жизни, ведь верно? — вопросительно обращался он ко мне время от времени, но в подтверждении не нуждался. Много ли могут знать друг о друге взрослые люди, успевшие прожить несколько лет врозь? Тем более мужчина о женщине? В свое время казалось возможным смотреть на нее с привычным превосходством, так сказать, мужчины-интеллектуала, уже занявшего место в известных кругах (в каких именно и что это было за место — от уточнений он и тут продолжал уходить), тогда как ей после университета приходилось прозябать на обычных секретарских побегушках. Компьютер, языки — всем этим она владела. Интеллектом могла бы помериться с любым, о внешности нечего говорить. Но это была невелика редкость. Чего он не сумел, наверно, вовремя оценить — это особого женского тщеславия, особой хватки, способности сделать ставку предельно крупную, меньшее ее не интересовало...

Подобных слов он, разумеется, передо мной не произносил, их добавлял уже про себя я сам. Усмешка не сходила с его толстых блестящих губ. Ее можно было счесть снисходительной, эту усмешку, но в ней улавливалось уязвленное недоумение. Могло ли не быть уязвлено мужское самолюбие, если теперь получалось, что он как бы состоял при ней? Примитивней всего прозвучали бы тут пересуды насчет корыстного расчетливого мезальянса. Но что в самом деле могла найти общего эта действительно тонкая женщина с таким вот мясником, гордо позирующим для фотографии на Доску почета? Как они могли общаться, о чем им было каждый день говорить, чем, наконец, она могла его так долго держать? А ведь держала крепко, и не один год.

Кое-что могла подсказать фотография их четырехлетнего сынка. Серьезная трогательная мордашка, удивленно распахнутые глаза, черная бабочка-бант, вызывавшая мысль о нежном котенке. Воспитание он получал домашнее, как в былых аристократических домах, имелась бонна, говорившая с ним по-французски. Обдумывалось ли отчетливо заранее, как надо будет пересаживать его потом из оранжереи под открытое небо, подключать к наследственному делу?.. А ведь речь, пожалуй, действительно могла идти о замысле, рассчитанном на перспективу. Ирина, по словам Джокера, была не на шутку одержима идеей о некой новой элите, в которую намеревалась не просто войти — скорей, если угодно, сформировать заново.

— Я ей как-то сказал, что у вас есть рассуждения на эту тему, — он вдруг посмотрел на меня со значением поверх бокала, не отрывая от него губ. — Она заинтересовалась. Расспрашивала о вас...

Вот когда я впервые не то чтобы насторожился: что-то в этом взгляде мне не понравилось. Он заметил, что мой бокал опустел, потянулся к бутылке. Я попробовал сделать протестующее движение, но оно получилось половинчатым, кресло слишком расслабляло. И коньяк все-таки был хорош...

— Вы представляете себе Пигмалиона в юбке? — удовлетворенно откинулся он. — Я иногда готов называть ее именно так. Материал ей достался, что говорить, сырой, неотесанный, но по-своему качественный, ему тоже надо отдать должное. Хотя работа потребовалась немалая. На фотографию не смотрите, — уловил он мой взгляд, — она устарела. Я у себя держу для памяти. Этот вульгарный чудовищный перстень она давно убедила его снять. Выбрать костюмы, галстук, рубашку, парфюм, что там еще? все это она умеет лучше любых консультантов. Да и с консультантами нет проблемы. Манеры он худо-бедно усвоил, в ресторане пользуется ножом и вилкой, причем держит правильно, я свидетель. Нет, что-то в нем она распознала. Даже черты лица меняются, это удивительно наблюдать... Я, знаете, одно время думал, сестра нацелилась использовать меня в каких-то литературных целях. Для работы, как говорится, над образом. Ей ведь нужно непременно создать, оформить, помимо всего, образ мужа. Для публики, в деловых целях. Чтобы в перспективе продвинуть его, допустим, в какие-нибудь депутаты. Хотя от этой политической, как теперь выражаются, элиты Ирину особенно воротит. Но мало ли, вдруг придется. Надо, чтобы о нем начинали писать... Нет, литература для таких дел не особенно годится, это я сам успел понять. Тут теперь требуются действительно профессионалы. Не такие, как мы с вами. У вас, боюсь, просто не получилось бы, или я ошибаюсь?..

— А вы, значит, имеете отношение к литературе? — осторожно спросил я. И тут же ощутил, что вопрос получился неловким, до неприличия запоздалым. Выпитое начинало действовать и на меня.

— Поинтересовались все-таки, — его ухмылка становилась все более удовлетворенно-расслабленной. — Ладно, чего тут объяснять? Я мог бы сам раньше представиться. Но мое имя вам все равно вряд ли что скажет. Я ко многому имел отношение. Чем-то занимался, чем-то интересовался. Театром. Вообще искусством. Пописывал. Крутился, можно сказать, возле культуры...

Имя действительно прозвучало скорей как псевдоним, я чуть ли не сразу его забыл. Как будто слишком уже свыкся со словом Джокер. Он умел ориентироваться в этой среде, вот что понадобилось использовать сестрице. Знал имена, репутации, отношения. Главное же, помогал ей быстрей избавиться от остатков застрявших с юности интеллигентских комплексов. Успели же в нас вдолбить представление о так называемых властителях дум. Сеятелях разумного, доброго, вечного. Помните еще, как любили говорить о писателях?.. Читать современных авторов ей было, конечно, некогда, это она тоже поручила ему.

Что он умел делать с особым смаком, так это спокойно, без злости раздевать перед ней самых раскрученных знаменитостей, не оставляя даже фигового листка. Иные ведь именно на таком листке любят изобразить что-нибудь особенно впечатляющее — наслаждение было тихонько продемонстрировать, что под ним на самом деле ничего вовсе и нет.

— Но знаете, в чем бывает самый большой кайф? — Джокер облизнул языком верхнюю губу, потом нижнюю. В его ухмылке появилось удовлетворение почти плотоядное. — Встретиться потом с таким властителем дум на престижной тусовке, познакомить с Ириной, завести разговор на высокую тему — и элегантно, двусмысленно, незаметно его перед ней опустить. Кайф в этой самой двусмысленности, незаметности, он даже обидеться не успевал. Но Ирина все мои намеки секла сразу, у нас с ней успел выработаться свой язык. Стоило посмотреть, как она про себя торжествует. Ей ведь это больше всего нужно — удостоверяться снова и снова, чего стоит на самом деле нынешняя так называемая элита. Культурная, интеллектуальная, какая еще? Ей это важно для внутреннего самоутверждения. А я ведь про этих тусовочных знаменитостей знаю не только по их книгам, они для меня, как облупленные, могу рассказать такое! До вас, может, кое-что доходило в виде фольклора?.. А?.. Вы что все молчите? — спросил он вдруг тоном недовольным, вызывающим, неприятным. — Не интересуетесь, что ли, окололитературными

сплетнями? Ведь вам хотелось бы имен, подробностей, разве нет? Не лукавьте хоть с самим собой: разве не приятно услышать подноготную про слишком уж успешных кумиров? Зависть — чувство самое естественное, признаться не грех... Ну, не отмалчивайтесь же, будьте, наконец, откровенны. Записывающих устройств здесь нет. Кроме вас. Ха-ха. Шутка. Ирина спрашивала: а почему, говорит, он никуда не ходит? Я говорю: так не приглашают, наверно. Да?..

Я поднес к губам бокал, чуть-чуть его наклонил.

— Да ладно, знаю я, что вы скажете, — он состроил пренебрежительную гримасу. — Сам не хочу, мне скучна эта суета. Ярмарка, как у нас говорят, тщеславия... Скучна, спорить не стану. А если я скажу: вам просто неохота оказаться под чужими взглядами? Неуютно, если начнут обсуждать? Думаете, о вас, что ли, не говорят? Хотите, перескажу кое-что?.. Молчите, молчите. Все равно ведь не скроетесь. Вот, никуда не ходили, а со мной встречи не избежали. Считайте, попались, да?..

И снова откинулся на спинку кресла, удовлетворенный, словно завершил арию.

— Ладно, — не стал он дожидаться моих слов, — это я так. Разыгрываю одну из возможных сцен. Мог бы на вас поупражняться. Но как-то все не разогрею азарт. Тем более сестрицы нет, не для кого стараться. И неинтересно, увы. Человек может ощутить, что его опускают, если только сознает и признает систему понятий, в которой это именно так воспринимается, называется. Даже оскорбления не ощутишь, если не поймешь, что это оскорбление. Не дойдет. Из другой системы. Вот так вы не почувствуете себя немодным, если не знаете, что это такое. Не уловите, не поймете насмешливого взгляда. В каком году вы покупали эти свои брюки? Мне кажется, еще гэдээровские?.. Подозреваю, примерно так же вам самому не может придти в голову, что ваша проза — вроде этих брюк. Вы ухитрились на удивление вообще не заметить: то, что вам до сих пор кажется литературой, уже мало кому нужно. Цивилизация на глазах меняется. Этого уже не носят...

— Да знаю, знаю, — не удержавшись, поморщился я. — Тоже известные разговоры. Людям сейчас нужней электронные масс-медиа, виртуальные игры, страшилки, фантазии...

— А разве нет? — с готовностью подхватил он. — Думаете, им надо углубляться вслед за вами в какие-то неясные бездны? И соотносить с ними свою жизнь? Об этой жизни они лучше прочтут в газетах. Потому и тянет от нее отвернуться, отвлечься, по возможности скорей забыть.

— И довольствоваться одной только макулатурой для разового пользования, на выброс?

— Проговорились все-таки! — захохотал он, впервые показав целиком не очень хорошие зубы. — Вас, значит, действительно вечность заботит? Непременно хочется оставить после себя нетленку? Еще один памятник? А вы представляете себе местность, сплошь уставленную памятниками? Как это будет называться? Кладбище. Только ведь их тоже со временем станут сносить — надо расчищать место для растущего населения. Свалки, вроде этой вот, за окном, глядишь, продержатся дольше... Пардон, вы не курите? Не возражаете, если я подымлю?..

Я молча кивнул. Если выпитое на нас и подействовало, то, видно, по-разному. Я казался себе расслабленным до онемелости, он оживлялся все больше.

— Вот, послушайте, может, вам будет интересно, — продолжал он, затянувшись всласть длинной коричневой сигаретой и выпуская из ноздрей дым. — Мне как-то встретился один сумасшедший коллекционер, его заинтересовала здешняя свалка. Коллекционеры все с годами становятся слегка сумасшедшими, вам не кажется? Из семьи математиков, сам по образованию математик, коллекция досталась ему по наследству. Разные счетные приспособления. Он мне показывал, я ходил посмотреть. Какие-то арифмометры — помните еще, были такие машинки, с ручкой, которую надо крутить? Корпуса иногда художественно оформлены, залюбуешься. Логарифмические линейки — я даже не представлял, какие они бывают разнообразные: крохотные, громадные, круглые, в виде карманных часов. Палочки Непера так называемые.

Но главное, конечно, всевозможные старинные счеты. Русские, с костяшками, японские, китайские. Сорубаи, суан-пен. Видите, я даже названия запомнил, память у меня неплохая. Есть просто удивительные штуковины, резные, каждая костяшка — произведение искусства. А всего ценней — совсем простые, почти ископаемые абаки, счетные доски с полосками, желобками. По ним передвигаются эти самые костяшки или камешки. Глиняные были абаки, всякие. Чем стариннее, тем ценнее, все тот же парадокс. Современный вот этот компьютер в такую коллекцию включить невозможно, просто бессмысленно. Тут, за окном, еще валяются остатки, громадные остовы первых электронных машин, великое достижение уходящей цивилизации, они занимали целые здания, помните такие? Не говорю о том, что ни в какую коллекцию они просто не влезут, дело не в этом. Главное — зачем? Современных миниатюрных калькуляторов, счетных устройств просто необозримое множество, в самых причудливых видах. Брошки, игрушки, часики. Они устаревают в день выпуска, их тотчас заменяют новыми — и туда же, туда же. Вместе с кастрюлями, ржавыми водопроводными трубами, отопительными старинными котлами. Что нельзя утилизовать, то сжигается. А коллекционной ценности никакой. Для подобной коллекции будущее бесперспективно. Только прошлое. Знаете, на что жаловался этот чайник? Ему предложили какую-то старинную абаку, чуть ли не древнегреческую, он заподозрил подделку. Появились подделки, вы представляете? А как определить? Счеты королевского министра в антикварной резной раме — произведение искусства, как же! В него вложена душа, талант, личность. Подпись можно в уголке выгравировать. Абсолютная художественная ценность. А в этот металлолом, между прочем, тоже вложены чьи-то незаурядные мозги. И что? Кому теперь нужна подпись?..

Он, наконец, заметил, что накопившийся на конце сигареты длинный пепел вот-вот может упасть, стряхнул его в пепельницу, затянулся опять с удовольствием.

— Помните, какую восхитительную игру стеклянных бус сочинил когда-то Гессе? Она ведь началась, в сущности, с чего-то, похожего на усложненные счеты: бусинки разной формы, размера, цвета передвигались по проволочным стержням. Их можно было использовать как нотные линейки. Пересечение математической и музыкальной мысли. Ах, в какую это разрослось умственную утопию, в какую мечту об элитарном ордене! Вроде монашеского. Который будет противостоять упадку и разложению. Игра с разными культурными ценностями, да? Пожалуйста: именно подобными играми сейчас вовсю и забавляются. Культурные ценности доступны в любых видах. Устройства для игр так усовершенствовались — у Гессе настоящей фантазии не хватило. Вы, конечно, скажете, он имел в виду что-то другое? Правильно, реальное развитие смеется над любыми умственными построениями. И над вашими в том числе...

Дым выплыл из его губ, поднялся вверх красивыми кольцами. Он выдержал паузу, наблюдая за произведенным впечатлением.

— Что, вы еще не заметили этого, не ощутили? Комфортней, конечно, отмахиваться. Поспевать за временем не удается, но хоть можно считать себя не таким, как другие, да? Тоже известные разговоры. Все не такие, но я особенно не такой. А вы хоть представляете себе, как сейчас размельчился, рассыпался этот самый культурный бисер? Все по множеству разных щелочек? В одной поклонники африканской магии, в другой любители гонять на мотоциклах, в третьей ценители старинной живописи — перечислять можно бесконечно. Друг о друге они знать не хотят, им другие неинтересны и непонятны. Так вот, вам, простите, не кажется, что вы продолжаете заниматься чем-то вроде имитации антиквариата для узкого круга ценителей, собирателей? Большого спроса на него быть не может, вас это и не смущает, да? Или у вас есть спонсор? На жизнь худо-бедно хватает?.. То, что сейчас еще называется искусством, литературой, скоро, может, вообще останется условностью для немногих. Хорошо если роскошью для богатых гурманов. Гессевскую Касталию тоже кто-

то должен был содержать, подкармливать, и они, обитатели, кормежку-то принимали, как должное. Зато получали право называть себя элитой. Удалось укрыться в своей щелочке, молодцы. А если называться элитой больше прав имеют не те, кого содержат, а те, кто содержат, как вам кажется?

— Да... понятия стоило бы уточнить, — я оправился наконец от затяжного, странного оцепенения. — Я бы предпочел говорить об аристократическом самоощущении, которое не обеспечивается ни наследственным правом, ни деньгами, ни общественным положением...

— Знаю, знаю! — отмахнулся Джокер. — И про это у вас читал. Мечта об элитарном гетто, да? Как вам нравится такой заголовок? Могу подарить. И высшим представителем этого аристократизма вам представлялся беззубый нищий поэт, который ходил в пиджаке с чужого плеча. Мы как раз об этом говорили с Ириной. Ох, послушали бы вы ее!.. Один литератор, знаете, рассказывал о старухе, которой этот самый поэт в молодости посвятил восхищенное стихотворение. Был в нее, видно, влюблен. Саломея, из княжеского рода. Соломинка. Она вспоминала о нем прямо-таки с брезгливостью. Даже мысли не могло возникнуть, чтобы подпустить к себе такого. Все равно что козла, буквально так, кажется, и выразилась. Что, в самом деле, могли для умной красавицы значить стихи, страдальческая судьба, даже слава? Тем более слава посмертная? Стал бы он хоть Нобелевским лауреатом. Для такой женщины собственная жизнь — поэма куда более значительная. Ирина ее вполне понимала... Я чувствую, вы уже порываетесь сказать: а сама-то кого себе выбрала? Да, тут еще действительно не все до конца утряслось. Потому ей постоянно и нужно самоутверждаться. Главное, не только внешне. Доказывать самой себе, что все было правильно, так и надо. Я о том с вами и говорю. Понятие элиты мутирует, тут вы с ней нашли бы общий язык. Когда десятилетие за десятилетием у нас уничтожались отборные, верхушечные слои, можно только удивляться, откуда еще возникали новые люди, да? Но когда-то, говорят, нацию спасали от вырождения насильники-завоеватели, вливали в нее дикар-

скую свежую кровь. Может, ей представляется что-то в таком роде?.. Ну, это опять же ее репертуар, не моя проблема. Разберется сама...

Джокер допил оставшийся на дне бокала коньяк. Примерил, долить ли еще, но словно не захотел отвлекаться. Он становился все вдохновенней.

— Мне, знаете, нравится ее иногда дразнить. Напоминать, что в рыцарские времена аристократу зазорно считалось заниматься практическими делами, денежными расчетами. Это предоставлялось низшим сословиям, правда ведь? Я, если уж завершить тему, считаю свое нынешнее положение куда более аристократичным, — сказал он вдруг вызывающе, с какой-то даже напряженной гримасой. — Аристократично не ограничивать себя определенным занятием, профессией для заработка. Всякая определенность вообще в некотором смысле есть ограниченность. Затверделая оформленность. По-настоящему наслаждаешься другим, сочным, наполненным состоянием, а? Как мы сейчас с вами... Или вы предпочитаете казаться себе демократичным? Быть всем понятным? Так сказать, общечеловечным?

— Черт его разберет, — я с усилием потер лоб средними пальцами. — У кого-то из нас путаются понятия. Боюсь, придется признать, я не так демократичен, как хотел думать. Увы. Держаться определенной системы ценностей оказывается на самом деле аристократично — если вам так нужно употреблять эти слова. Аристократична все-таки форма, о которой вы так пренебрежительно... Не знаю, что имеет в виду ваша сестра. По вашему рассказу трудно понять, что она такое. Но ведь можно говорить об аристократичности самой женской природы. Женская стыдливость, разборчивость — от сознания, от инстинктивного знания, что ей придется рожать. Она должна заботиться о доброкачественности потомства. Мужчина — что! оставил, где случится, свое семя, и нет его. А родить-то придется ей, и воспитывать при себе ребенка. И каким он у нее окажется — ей расхлебывать... Не знаю, не знаю, каким ей видится ее мальчик. Женщина, конечно, способна что-то чувствовать интуитивно. Как доходит

до семьи, до рождения — инстинкт, глядишь, как раз окажется аристократичным...

— Жаль, что она вас не слышит, — ухмыльнулся во весь рот Джокер. — По вашей прозе можно было догадываться, что вы не то что сентиментальны — до неприличия моногамны. Я прав?.. Но когда вы пускаетесь философствовать о женщинах... да ладно, не буду вас обижать. Даже трогательно. Мои разговоры, думаю, вам без надобности, сами по-своему досочините... Что вы, кстати, начали мне говорить про эту нашу секретаршу в холле? Тургеневская девушка? Да не жмитесь, выразите свое впечатление.

— Не то чтобы тургеневская, — уступил я нажиму. — Косметики на мой вкус многовато, лица у некоторых становятся нарисованными. Но улыбка! Она так улыбалась, губы полуоткрыты — как будто слушала неслышную другим музыку. И нас даже не замечала.

— Вот-вот, в вашем духе. Очаровательно. Настолько не понимать современной жизни, про женщин не говорю! Образ, к вашему сведению, можно менять вместе с прической. Сегодня такие волосы примерила, завтра другие. А хотите узнать, что говорила эта улыбка? У этой девочки всего-навсего — знаете ли вы такие новинки? — вмонтировано в трусики современное ублажающее устройство, называется скорпион или скат, по-разному. Есть еще бабочка. Включается дистанционным управлением. Как далеко ушла техника, да? Раньше для таких дел приходилось стараться мужчине. Впрочем, и раньше обходились по-всякому. Но теперь мы для нее вообще не более чем одно из приспособлений. Даже меньше.

— Причем тут множественное число? Убедились, что ли, на своем опыте? Медуза для таких дел не годится, но обобщать не надо.

— Что вы имеете в виду? — насторожился он...

Нет, таких слов я, конечно, не произносил. Это было уже похоже на недозволенный, шулерский прием. Попытка решить партию в свою пользу, когда не сумел найти достойно-

го, убедительного хода. Чтобы потом мысленно, для себя, переиграть, переписать все более правильно, победительно, неопровержимо. А неудавшийся черновик скомкать, порвать на куски помельче — его, считай, не было. Лучшие доводы всегда приходят задним числом.

Слишком было бы просто — представить этого Джокера ожирелым расслабленным импотентом. Недобросовестное, злорадное передергивание. Но про медузу действительно стоило бы сказать, жаль, не пришло на ум раньше. Надо было вставить сразу же после той его похвальбы насчет сочного наполненного состояния. Что это, если не блаженное колыханье медузы? Посмотреть на нее: как она роскошествует, переливается, наслаждается, красуется прозрачными объемными очертаниями — но только если есть среда, в которой можно расправиться. Вне среды — комок бесформенной слизи. Не знаю, как насчет его Ирины, тут все остается для меня пока непрописанным, нерешенным наброском, над которым еще можно подумать — но ему-то самому как раз требовалось иметь перед собой кого-то, хоть вот меня, чтобы самоутверждаться, самоутверждаться. Было бы за чей счет. Сейчас, когда записываешь разговор, только и начинает доходить, зачем я ему на самом деле понадобился...

Кто он сам по себе такой? Приживальщик при богатых родственниках, не более того. Его зять с физиономией удачливого бандита по крайней мере занимается переработкой отходов, чужих, но все-таки. А этот всем пользуется, все оценивает, обсуждает со стороны, сам ни в чем не участвуя. Он ничего не создает, не тратится на личное напряжение, попивает халявный коньяк с хозяйского стола. И еще толкует мне, что следует считать реальной жизнью. Какое он имеет к ней отношение?..

Сам, между прочим, тоже этим коньячком попользовался, — тут же вынужден был я себе напомнить; других оппонентов уже не было. Чем ты вообще сейчас занимаешься? Думал всего лишь разобраться в собственном самочувствии, не более, и вон куда занесло. Который раз такое: поначалу все представляется ясней, кажется, будто знаешь, чего

ищешь. Но чем проникаешь дальше, чем больше тебе открывается, тем все оказывается непонятней. Может, скорей ты сам становишься все менее определенным, все более расплывчатым? Незачем больше в ту сторону углубляться, лучше оставить этих персонажей в покое. Разберись, давай-ка, с самим собой: что такое твои отношения с реальностью?

Хорошо, попробую. Пора, наверное, привести в порядок первоначальные, простейшие мысли. Можно сказать, что я действительно пытаюсь создать на этих страницах не более чем свой, мало-мальски выстроенный, оформленный мир. Мир, в котором, вопреки всему, можно говорить о существовании красоты, смысла. В котором есть любовь, нежность, представление о правде, честности, справедливости. И т. п. Только в нем я мог бы действительно жить, и он для меня не менее реален, чем тот, где можно обходиться механическими устройствами для самоублажения. Проблема возникает, когда пробуешь что-то соединить, ощутить, осмыслить какую-то всеобъемлющую полноту, принять помимо всех оценок, вместить в себя общее бесконечное разнообразие. Возможно ли вообще такое?..

Что-то вроде надежды алхимиков осуществить последний, решающий, не такой уж сложный синтез. Остановка у них была только за философским камнем. Некоторые уверяли, будто рецепт им и вправду известен. Где-то я в книге оставил закладку?.. А, вот она. «Чтобы приготовить эликсир мудрецов или философский камень, возьми философской ртути и накаливай, пока она не превратится в зеленого льва. После этого накаливай сильней, и она превратится в красного льва. И увидишь появление горючей воды и человеческой крови». Гениально в своей простоте, а? И ведь какие найдены слова — чувствуется искреннее убеждение! Вопрос, что получалось у самого написавшего это. Искренне веривший в свои слова должен был рисковать жизнью. За потраченные химикаты надо было отчитываться, расправлялись тогдашние спонсоры без суда. Приходилось делать вид, что работа идет, объяснять необходимость отсрочки, требовать новых средств. Ну, а кто с самого начала жульничал, тот лишь дожидался

случая убежать, прихватив наличное золотишко. Авось не поймают...

На кого из них, интересно, похож сейчас я? Вместо слов на листе-то возникают уже все больше завитушки, узоры, ни на кого не похожие рожицы. Очередной кризис. Все еще изображаю неизвестно перед кем деятельность. Невидимого надсмотрщика хочу обмануть, себя ли? Договора ведь ни с кем не подписывал, аванс возвращать не обязан. Кому нужна эта вымученная добросовестность? Разве только тебе. Ни на что другое просто чувствуешь себя не способным. Даже странно: могут же другие жить и умирать, обходясь без литературы. На прокорм и сейчас бы, думаю, у меня нашлось. Кормился же раньше одними переводами...

Все, честней это занятие прекратить. Найди себе что-нибудь другое. Телевизор, что ли, включить?..

Женщина с внешностью знакомой соседки торжествующе протягивала мне коробку стирального порошка. Я поспешно переключил программу. Светловолосая секретарша успела сменить прическу, она опять смотрела не на меня, упоенно разминала что-то во рту. Сомкнутые влажные губы двигались медленно, глаза полуприкрыты в самозабвенном любовном экстазе. Кто-то умел наслаждаться жизнью, из которой меня выталкивало, как пробку. И не было под рукой программы, чтобы найти мало-мальски приемлемое зрелище. В другое время я не стал бы пробовать дальше, просто бы выключил телевизор. Но сейчас надо было во что-то уткнуться.

Еще по одной программе показывали футбол. Вот, хотя бы это. Лучшего незачем было искать. Вася-обожженный не ошибался, когда-то я мог считать себя настоящим болельщиком, знал по именам игроков, их достоинства, вскакивал на трибуне вместе со всеми, когда мяч попадал в сетку между столбов или наоборот, не попадал. Главное, воздух вокруг был наэлектризован, заряжал общим чувством. На маленьком экране эффект был, конечно, не тот. Особенно если не знаешь, за кого болеть. Поначалу не удавалось понять, кто

с кем играет, какой счет. Крупные надписи на футболках обозначали вовсе не названия команд, мелкие эмблемы были едва различимы, расцветка футболок ни о чем теперь не говорила. Пятна человеческих фигурок перемещались по экрану, крупно показанные потные лица оскаливались в азарте единоборства.

Двое у микрофона переговаривались неторопливо, с ленцой. Они, как я, наблюдали за происходящим на поле, но меньше всего интересовались игрой. Так лузгают семечки на скамейке перед воротами, провожая взглядом проходящих по улице, но едва поворачивая им вслед головы.

До меня постепенно дошло: обсуждался слух о перепродаже кого-то из игроков. «После той истории с представителем федерации его цена возросла чуть не вдвое», — сказал один, поправляя что-то языком между зубами. «Это которого он укусил за палец?» — хмыкнул другой и отплюнул в сторону шелуху. (Виртуозность лузгания, когда рука не доносит семечко до рта, вбрасывает его с расстояния, без промаха, едва уловимым движением, а потом оно так же без участия рук, пневматическим плевком направляется по эффектной траектории. Наслаждение самоценным ритуалом, которого не доставит очищенный заранее магазинный продукт). «Я слышал, не за палец, а за лодыжку». — «Неважно. Главное, сумел сделать себе имя. Сразу фотографии, интервью, судебный процесс». — «При том, что в последних пяти играх он не забил ни одного гола». — «Имя и голы оцениваются в одних и тех же уе». — «Это хорошо сказано. У-йе!.. посмотрите, что он вытворяет! Зачем было делать передачу налево? Там же никого нет!» — «А если бы был? Главное, вы готовы разволноваться. Этим и захватывает игра. Слышите, как орут на трибунах? У кого-то, может, случился разрыв сердца. У некоторых и перед телеэкраном случается. Если вникнуть, какая разница: направо, налево? Разве смысл в том, чтобы пробежать с мячом прямиком от ворот до ворот и послать его в сетку? Это все равно что нам говорить только разумные, точные, осмысленные слова. Людям нужна не логика, скорей что-то вроде нашего трепа. Передаешь направо, налево —

и от этого может зависеть судьба, карьера». — «Кажется, его сейчас унесут с поля. Игра становится жесткой». — «Жесткость прибавляет ей реальности. За сломанную ногу он получит страховку в тех же уе. Не спрашивать же, какой в этом смысл. Все равно что спрашивать про смысл жизни». — «Вы слышали, есть новая концепция? Количество мячей, шариков, пузырей, вообще фишек, предлагается устанавливать по желанию участников. Их можно двигать в любую сторону». — «Укус разрешается?» — «В спорте вряд ли. Но игра — это же не только спорт, это еще искусство. В столице Стокгольма была конференция: считать ли укус художественной акцией или спортивным приемом». — «Вы хотите сказать, в Париже?» — «В немецкой части. Время требует новизны. Игроки и зрители имеют равные права. Мы с вами тоже участвуем. Каждый ход, каждую передачу от игрока к игроку можно сопровождать разговорами о том о сем, и продолжать, как сейчас, пока самим не надоест или пока нас не выключат для рекламы»...

Грохнул внезапный музыкальный взрыв. Вместе с крутящимся пятнистым мячом с экрана полетела прямо на меня, укрупняясь, запотелая коричневая бутылка, из нее полилась пенистая жидкость. «Играй! Пей! Дыши!» — возник заклинающий голос. У-йе!.. Я только теперь обнаружил, что незаметно успел соскользнуть в полудрему. В руках не было пульта, чтобы выключить телевизор, кресло совсем затянуло в себя, не отпускало. И зачем было что-то менять? Где привык, там и удобнее оставаться. У-йе! Как завораживающе звучал этот новый возглас! Отзвук первобытного вопля. Общемировая универсальная единица. Когда-то вовремя догадались заменить золотые монеты бумажками, скоро не потребуются и бумажки. Хорошо, если можно все упростить. Сидя в кресле, ощущать радость движения. Вместе со всеми. Шарики или мячи перемещались, резвясь, подпрыгивая, вытягивались в длинную, уходящую за горизонт ленту. Почему мысль должна быть непременно вытянута в одну линию? Не надо ничего понимать, только поддаться, плыть куда-то в общем

потоке. Движению не требуется даже помогать, шевелиться. Несет и несет, вместе со всеми, дальше и дальше. Плавно. Ни вращающихся колес, ни перемен вокруг, ни шума ветра в ушах — одно лишь чувство движения. Мягкие прозрачные пузыри колыхались рядом. Внутри коричневых вод созревали, улыбались зародыши. Чувство сладкого головокружения. Кругом что-то лопалось, бормотало. Играй, бей, пиши... Не надо ничего выяснять, и спрашивать некого. Пусть кажется, будто мы знаем, куда все движется, знаем, почему и зачем, как все было устроено раньше и как все надо устроить. Головы возникают среди пузырей, бритые и волосатые, в египетских уборах, чалмах и тюрбанах, рыцарских шлемах и армейских касках. Мысль продолжает развиваться осмысленно. Как же иначе, если это мысль? Конвейер продолжает производить уе, движение одностороннее. Наработанное накапливается. Берега покрыты использованной шелухой. Оборванные разноцветные проводки, разобранные на части мозги. Куда девается их содержимое? Считай, улетучилось. Что остается, тем будем пользоваться. Можно это назвать культурой, можно сделать темой для электронных игр и костюмированных представлений. Песнопения обитателей пустыни звучат среди бетонных стен, где вместо неба и звезд световые эффекты, где можно влюбляться в тень, движущуюся на экране, и среди других теней увидеть себя на летящем неизвестно куда пузыре. Приспособления с меняющимися цифрами не показывают, как ускорился ход времени, но когда видишь солнце, наглядно же: на закате оно движется все быстрей. В заводи пахнет тиной или брожением, тут зарождается что-то новое, а задержаться нельзя. Нынешнее состояние цивилизации — еще не окончательный ее этап, вот что надо считать надеждой. Если история может чему-то учить, то хотя бы этому...

На стремнине, обгоняя других, плыли деревянные ящики, продолговатые, грубо сколоченные. Из одного высовывалась ржавая лопата в кепке — я узнал автопортрет своего друга, скульптора Вадима Сидура, называвшего себя «отцом гроб-арта». Не удавалось приблизиться к нему, он все уда-

лялся. У лопаты не было рта, но крепло чувство, что надо лишь прислушаться...

«Не получается навсегда, вот что трудно», — прозвучало в пространстве тихо, насмешливо и грустно. «Что навсегда, что трудно?» — попытался понять я. Догадка была уже совсем близко, оставалось удержать, вспомнить, выбраться вместе с пониманием на поверхность, пока оно не исчезло...

— Навсегда проснуться, — растворялся, таял в сумерках последний, еще отчетливый отзвук.

Почему за столь долгий срок не удалось Музилю довести до конца уже во многом выстроенный роман, даже приблизиться к завершению, которое в основных чертах заранее было намечено и не раз как будто мерещилось?

Писатель, как известно, человек, которому писать особенно трудно. Проблема Музиля была не в так называемых «муках слова» — он исписал за годы работы необозримое множество страниц. Была ли она в том, чтобы на чем-то остановиться, удовлетвориться достигнутым? Если бы сам Музиль мог себе определенно сказать! Выглядит все именно так: чем дальше он продвигался, тем больше открывалось сложных, разветвленных, требующих осмысления и разработки возможностей.

«Я хочу одновременно слишком многого, — записал он однажды... — Отсюда возникает нечто судорожное». Затруднения в работе иногда обострялись до такой болезненной степени (представляется что-то, похожее на заикание), что пришлось даже обратиться к врачу. Доктор Лукач попросил изложить, проанализировать письменно, что же пациенту мешает. Музиль добросовестно выполнил предписание. В своем пространном отчете он, среди прочего, сравнивает себя с человеком, который пытается зашнуровать футбольный мяч размером больше себя самого; пишет о попытках расчленить работу, чтобы справиться с ней по частям; однако возникающие при этом идеи оказывается трудно объединить в целое, это действует парализующе.

Доктор, прочитав отчет, посоветовал писателю просто переждать несколько дней, расслабиться, как теперь говорят. «Новая мысль позволит что-то перегруппировать. Или наоборот, перегруппировка породит новую мысль. Важное станет вдруг неважным и отпадет».

Рекомендация дельная. Но ведь то, что предлагал врач, с Музилем как раз и происходило, вот в чем была беда. В марте 1934 года он пишет знакомому, что ему пришлось пересмотреть планы и наброски, сделанные десять лет назад, пожертвовав почти всем, что первоначально должно было составить, собственно, весь роман. И через полгода: «Завершение романа уже обозримо — но путь к нему!»

Так, поднимаясь в гору, уже, бывает, видишь вершину, однако радость оказывается преждевременной: это всего лишь промежуточный выступ, заслонявший вершину другую, только теперь открывшуюся впереди — настоящая ли, однако, и она, окончательная ли? Снизу, от подножья, путь представлялся гораздо более обозримым. А если каждый очередной шаг видоизменяет перспективу, порождает непредвиденные задачи, требует новых решений, поисков? Если каждое найденное решение не прибавляет ясности, а, наоборот, от нее удаляет?..

Нет, продвижение к вершине — пожалуй, тут не самое подходящее сравнение. Скорей возникает чувство, будто человек годами преодолевает разнообразное, необозримое пространство в наивной — при таком-то опыте! — надежде добраться когда-нибудь до места, где земля сходится с небом. Как еще назвать это стремление соединить несоединимое — не сюжетные линии, не судьбы героев, тут дело, как говорится, техники: неуловимую, неохватную реальность с определенной, словесно выраженной мыслью? Если бы опыт хоть прибавлял с годами уверенности! Какое там!

Выразить надо всегда намного больше, чем позволяют ограниченные способности, возможности самого языка. И ведь в каждой работе выкладываешься предельно, словно она единственная и последняя — как же иначе? Но любое за-

вершение оказывается условным, да и может ли оно быть другим? Музиль словно не хотел примириться с этим.

В первой части романа иронически обсуждается некая «утопия точной жизни», возможность все делать осознанно, целенаправленно. «Это значило бы... примерно то же, что молчать, когда тебе нечего сказать; делать только необходимое, когда тебе не надо добиваться чего-то особенного...» И тут же, в следующей главе, можно прочесть о той самой «утопии эссеизма», когда продвигаешься не в литературе — в жизни как бы на пробу, нащупывая и осмысливая каждый очередной шаг, («который может быть сделан в какую угодно сторону, но, чтобы сохранить равновесие, непременно ведет к следующему шагу и всегда вперед»). Во второй части романа герои, брат и сестра, обсуждают возможность действительно полноценного жизнеощущения, они называют его «другим состоянием» (der andere Zustand) — понятие так и остается не вполне определенным. Да и какая может быть в таких материях определенность? В рабочих набросках Музиля возникают намеки на инцестную связь между братом и сестрой, на некое «путешествие к пределам возможного». Там же говорится о «мистике яви» (tägliche Mystik), «о свободе, с какой математика иногда пользуется абсурдом, чтобы придти к истине»...

Музиль, как известно, имел неплохую математическую выучку. Но как он, интересно, предполагал совместить ощущение бесконечно разнообразной, неисчерпаемой, иррациональной жизни с безусловностью математически точного, истинного решения? Это можно бы обсуждать в рамках представлений религиозных, однако от них герои Музиля далеки, и сам он ко всяческим готовым системам относится явно скептически. Ближе к концу романа (впрочем, о конце тут можно говорить совсем уж условно), отчасти в неопубликованных главах, возникает персонаж, проповедующий веру в высшие ценности, покорность заповедям и т. п. «Глаза его сверкали, как два проповедника на возвышении, образованном его длинными ногами».

Ничего не скажешь, Музиль-художник силы своей не утратил, и способность к иронической усмешке до конца ему не изменяла. Сколько попутных идей, эссеистических размышлений, сюжетных линий было оставлено им за пределами текста, в рабочих записях, вычеркнуто из уже готовых глав! Хотя при этом варианты, вызвавшие сомнения, окончательно все-таки не отбрасывались. Он продолжал их хранить, словно не исключая возможности к чему-то вернуться. Исследователям, которым пришлось разбираться в рукописях после его смерти, это дало, что говорить, великолепный простор для самых разнообразных версий и построений; каждый мог скомпоновать на свой вкус наиболее убедительное финальное разрешение.

Но самому-то автору — что ему стоило закруглить сюжет романа хоть так, хоть этак? В жизни чего только не бывает, в романе тем более. Чего было вообще доискиваться, если будущее героев было для него, пишущего, уже хорошо известным прошлым: впереди их всех ждала мировая война, которой суждено было перевернуть судьбы, отменить планы, обесценить великолепные концепции. «Все линии сходятся на войне», — это Музиль определил заранее в одной из рабочих тетрадей.

Господи, да в конце-то концов — разве нам и без того не ясно заранее, чем все кончится? И к чему бы ты ни пробивался всю жизнь, что бы тебе ни открылось, понимание в конце концов всегда будет недостаточным, давно проверено. Ну и что? Разве мало того, что удалось вместить в написанные страницы?

«Просто смотри, что происходит, перестань честолюбиво помышлять о каком-то совершенно новом теоретическом познании (а ты, значит, был бы его Магометом!)», — словно спохватывается в дневниковых записях Музиль. Увы, рассказчика житейских историй из него просто не могло получиться. Стоило тогда ворочать так долго в перегруженном мозгу те же самые глыбы, изводить себя, не думая о читателе? Неужели непременно требовалось решить что-то все-таки еще и в мыслях?

Какие там утопии померещились его героям? История так называемой «параллельной акции», идеологической подготовки к императорскому юбилею, которую так много обсуждают в романе, оказывается все более безысходным занудством. «Путешествие к пределам возможного» оборачивается в черновых набросках всего лишь поездкой брата и сестры на юг, к теплому морю. Первоначальный восторг сменяется разочарованием, возникает мысль о самоубийстве. Н-да... всего только...

Самого Музиля, продолжавшего писать, тем временем уже настигла Вторая мировая война, он вынужден был эмигрировать, бедствовал — но даже для заработка отказывался отдавать в печать уже оформленные новые главы романа. Смерть дожидаться долго не захотела.

«Трагедия потерпевшего крушение человека», — записывает он в рабочих тетрадях. Только ли это о судьбе своего героя — или тут уже предчувствие, что не хватит все-таки жизни, чтобы соединить несоединимое, дотронуться — не в воображении, а взаправду — до влажного холодного краешка, прикоснуться к мерцающей трепетной звезде?..

Помню, какое впечатление произвела на меня история музилевского романа еще до того, как мне его довелось прочесть — история бескомпромиссного стремления к совершенству, в самом деле почти запрограммированного поражения. Почудилось в ней что-то понятное, близкое, даже родственное — как близким и родственным может казаться недостижимый, увы, идеал. Музиль как-то высказался в том смысле, что довольствоваться можно лишь гениальным (nur das Genie sei erträglich, — передает его мнение один исследователь). Слишком лестно было бы, конечно, равнять себя с ним. Дал бы еще кто гарантию, что гениальность эта подтвердится когда-нибудь, хоть после смерти.

Роман оказался действительно выдающимся — но сопоставимы ли были бесспорные достоинства текста с совсем уже беспримерным, самоотверженным, самогубительным усилием автора? — вот ведь какое стало примешиваться сомнение. Можно ли было в самом деле примерить к себе та-

кой опыт? Чужой опыт вообще не про нас, опыт поражения, признаем честно, тем более. Если из него для себя что-то можно извлечь, то урок скорее остерегающий. Жизнь вынуждает быть не то чтобы поскромней — реалистичней, что ли? О себе можно всякое воображать — но кто станет хотя бы поддерживать наше скромное существование до маловероятных лучших времен, как сделал это кружок добросердечных ценителей Музиля, собиравших для него деньги? Некоторые из них даже знали, что Музиль высказывался о них пренебрежительно (а деньги при этом принимал, да с таким видом, словно им оказывал честь). Увы, среди этих добряков оказались преимущественно евреи, которых фашизм скоро лишил возможности ему помогать.

Нет, дело не просто в масштабе таланта. Человек устроен так по своей природе: он не может не стремиться к концу, к желанному завершению, в работе ли, в любви ли. Невыносимо бывает томление, ожидание, сладостно длящееся осуществление, и хочется продлевать это состояние бесконечно, зная заранее, что всему должен рано или поздно придти конец, что самый счастливый миг, озарение, вспышка тут же неумолимо сделают все прошлым и окажутся прошлым сами — а впереди новое бессилие, новое ожидание, новая надежда, воспоминание о пережитом. В этом, увы, грусть жизни, но из этого она состоит. Иначе нельзя...

И тогда приходит на ум: может, Музиль, не отдавая себе в том отчет, просто не хотел завершать счастливую, мучительную работу? В ней осуществлялась, продолжалась, преображалась собственная его жизнь? Что такое приключения его героев, никогда на самом деле не существовавших, как не приключения его собственной души, его мысли? Усилие этой работы позволяло возобновлять себя бесконечно, не повторяясь, не исчерпываясь ни в каком результате. О да, это бывало мучительно, как бывает мучительна жизнь, это, вообще говоря, непосильно. Нам нужно хоть время от времени удовлетворение, отдача, успех, если уж договаривать до конца. Незавершенность невыносима, как поражение. Не зря Музиль обронил те самые слова о трагедии.

За время, отданное работе, в мире столько произошло! Передуманное, перечувствованное, пережитое ни в какой объем невозможно было вместить. Да разве в объеме дело? Для озарения, вспышки не требуется большого пространства, поэт или музыкант могли бы сказать об этом больше прозаика.

«Найти в этом чередовании явлений опору так же трудно, как вбить гвоздь в струю фонтана», — умел же писатель сказать! «Надо иметь мужество жить среди моральных противоречий». После каждой такой фразы в самом деле можно бы поставить точку и сказать читателю: здесь, друг мой, расстанемся. Сказанное будет разрастаться уже внутри тебя, входить в твою жизнь...

Жалко дочитывать книгу до конца, хочется задерживаться чуть ли не на каждой фразе. «Он был как бы зашит в отвратительную, безглазую, трупную кожу, которая еще составляет часть человека и уже чужеродна ему. Дорожный мешок жизни». Это Музиль о покойнике, о самом что ни на есть конце. Что нужно было ему еще искать, к какому завершению устремляться дальше? И увидишь появление горючей воды и человеческой крови. Какого он, в самом деле, доискивался философского камня? Только писателю и взбредет в наше время на ум заниматься таким делом. Непосильное, безнадежное устремление. Но без таких попыток нам тоже оказалось бы вовсе уж неуютно, обидно, невыносимо.

Каждый выстраивает вокруг себя реальность, какую может, какую способен выдержать; оправдывать ожидания она не обязана. К какому-то возрасту жизнь все равно предложит нам довольствоваться чем-то, мало похожим на идеал. Относительным, условным. Житейским, в конце концов. На этом она, если угодно, держится...

Стоило ли в самом деле искать единственно убедительное решение, переоценивать способность старательного литературного ума, когда жизнь умеет распорядиться проще, насмешливей, снисходительней? Павел Ильич встретился мне во дворе случайно. Возможно, сам он со мной на сей раз бы

не заговорил, если бы не затявкала вдруг на меня собачка. Черная, мохнатая, смесь неизвестно кого неизвестно с кем. Сосед придержал ее за поводок, наклонился потрепать за ухом. Та с готовностью вскинула навстречу руке морду, ожидая заслуженного поощрения. На меня покосилась отчасти извинительно, отчасти удовлетворенно: ничего, мол, не поделаешь, я не со зла. Несу службу. Защищаю хозяина. Взгляд Павла Ильича говорил примерно о том же. В них обоих проявилось на миг что-то похожее — удивительно, сколько общего оказывается иногда в хозяине и собаке.

А ведь мне самому такое даже на ум не приходило. Сочинял, мусолил почудившиеся после первой встречи комплексы, искал им объяснения. Комплексы-то были скорей моими. Все куда проще. Приблудился на улице ничейный щенок неизвестной породы, попросту беспородный, хотя и симпатичный, похожий на мягкий пуфик, трогательный. Стоило тебе остановиться, и он с готовностью останавливался, садился на маленький задик, вот как сейчас, смотрел снизу умильно, доверчиво, поскуливал просительно. Не мог человек устоять перед таким взглядом, привел к себе поначалу просто чтоб покормить. Оставлять его у себя он вовсе не собирался, тем более что и жена возмущенно потребовала избавить ее еще и от этой возни, уборки, обузы. Выдворить щенка обратно на улицу — вот оказалась проблема...

Павел Ильич рассказывал мне про это, как бы сам посмеиваясь над собой, над своей слабостью. Ничего тут и не требовалось особенно объяснять, я все это по себе помнил. Сам был категорически против, когда жена с дочкой принесли еще безымянное тогда существо. Услышали, как кто-то скулит в живодерском фургоне, выкупили за трешку, надеялись просто освободить, тут же выпустить. Но бедняжка даже ходить почти не могла, ослабела от пережитого потрясения. (Человеку ли понять этот запах палаческой клетки, вонь предсмертного и смертельного ужаса, полудохлых и дохлых тел?) Брюхо было облезлое, голое, пришлось нести уродину на руках, в уже неуверенной надежде, что достаточно будет просто ее подкормить...

Что не позволило нам обоим, ему, как и мне, сразу избавиться от обузы? Только ли жалость? Не хватило разумной жестокости, или, правильней выразиться по-другому: мужественной решимости. Судьба не прочь бывает подбросить нам и не такое, то и дело вынуждает о ком-то заботиться, что-то навязанное терпеть — и чертыхаешься, и клянешь нелепую, ненужную случайность, собственную мягкотелость. Лишь со временем замечаешь, сколько приходит вместе с этой случайностью в твою жизнь.

Чужое, непохожее на тебя существо смотрит умиленно глазами восточной красавицы, выжидательно поводит хвостом, предлагает тебе преданность и любовь, не обесцененную словами. Она без слов угадывает твое беспокойство, озабоченность, сама становится тревожной, понурой. Она прячется под стол, предчувствуя еще не выраженное недовольство. А это разнообразие интонаций, лая, повизгивания и поскуливания! Когда видишь, как она схватывает на тропе след, поднимает голову, опускает снова к земле, осознаешь ограниченность своих природных возможностей. Какие она вычитывала эпистолярные романы, обнюхивая дерево или столб, возле которого, задрав лапу, оставлял послание молодой ловелас? Какие разыгрывались драмы, какие страсти! Эти кобельки дежурили у нашего подъезда, проникали внутрь, дожидались у двери, на лестнице, влюбленно выли, дожидаясь, пока выведут на прогулку благоуханную красавицу — а ты в человеческой жестокости не допускал встречи, отгонял влюбленных пинками. Но что же это было потом? Когда красавица сумела вырвать у тебя из руки поводок (какова сила страсти!) и, волоча его по земле, виляя задом, в восторге — удалась наконец встреча! — подбежала к преданному ухажеру? А он обнюхал ее, как положено, спереди, сзади и равнодушно потрусил дальше своей очаровательной кривобокой рысцой. Могла ли она понять, что у нее просто кончилась течка? Да разве понимает больше какая-нибудь девица, почему без причин охладевает к ней недавний поклонник? Или, скажем, кумир-литератор: только что его осажда-

ли интервьюеры, а теперь надо самому себя предлагать, напоминать, называть имя. Не стало запаха, вот что это такое...

Ладно, вспоминать можно без конца, не о том речь. Сосед узнает и без меня, как помогают собаки понять многое в человеческих отношениях. Главное, у него появилась возможность о ком-то заботиться. Человек ведь не просто нуждается сам в заботе. Нужно, чтобы существовал кто-то, на кого можно обратить свои мысли, чувства. А потом еще сойдешься с такими же собачниками во дворе, пригласят тебя посмотреть щенков, как общих детей и внучат...

Все, все. Распелся, — пришлось остановить себя снова. Как это сказал Джокер: тянет вас к общим местам? Ну и пусть к общим, не стану и тут отрицать. Жизнь, как мы уже выяснили, по большей части из них-то и состоит. Из житейских забот, отношений. Из раздраженности, преданности, болезней, любви. А из чего же еще? Из размышлений об устройстве Галактики? О метафизической сущности человека? О своей неповторимой особенности? Нет, существенней оказывается чувство простой жалости и вины. После смерти своей Белки я решил твердо, что другой собаки уже не заведу. И как вскоре выяснилось, этого не допустил бы сам организм. Потому что лишь время спустя я осознал, что у меня сама собой прошла астма, которую я терпел много лет, не понимая даже, что это астма, не считая нужным обратиться к врачу. А тут заметил вдруг, что дышу нормально, без мучительного присвистывания. Болезнь исчезла бесследно. Только тогда и прояснилось ее аллергическое происхождение...

Зачем я стал вспоминать еще и это? Мне как будто вдруг послышалось в голосе Павла Ильича что-то именно похожее на астматическое сипение. Хватило ума не спросить его об этом. Смешно. Нет, не надо своих историй переносить на другого. Ненужный поворот мысли...

Право же, какую-то добродушную простоту привнесла в мое состояние эта житейская встреча. Зачем делать жизнь сложней, чем она есть, преувеличивать частности, застревать на них? А она вот такая. Все! Теперь можно было завершать

сочинение. И пора уже в конце концов. Вот, кофемолка принесена из починки. Я попросил за ней съездить жену. Пришлось не вполне искренне объяснять, что у меня сейчас для этого просто нет времени. Работа на самом ходу, не могу надолго оторваться, отвлечься. И ведь два раза туда уже ездил, это дальний конец... В моих объяснениях, что говорить, нетрудно было заметить лукавство, и обижаться она была в полном праве. Хорошо устроился, — так примерно могла бы сказать. Пребываешь где-то в своих мирах, а по магазинам хожу только я, вся домашняя работа на мне. Теперь еще кофемолка...

Ну, разговоров никаких я воспроизводить тут не собираюсь, не хватало еще этого. И не о том речь. Можно было бы сказать, что мне туда просто лень ездить. Звучало бы циничней, но правдоподобней. Хотя правдой все равно бы не стало. Настоящей причины я не сформулировал бы внятно даже себе самому. Не хотелось еще раз проделывать тот же путь — как это объяснить? (Тем более путь, глядишь, оказался бы совсем не тем же). Мне хватало того, что я уже описал. А для нее ведь такая поездка значила бы просто совсем другое, как было об этом сказать?..

— Да, — вспомнила жена, выходя из кухни, — тебе кто-то звонил.

— Кто? — встрепенулся я.

Предчувствие близкого разрешения оправдывалось. Звонивший себя не назвал, но оставил номер своего телефона: какое-то у него ко мне было дело.

Первой мыслью было, что это из редакции: прочли, наконец залежавшуюся работу. Но нет, они бы себя назвали. И номер оказался не редакционный, совсем незнакомый. Я тут же его набрал.

Несколько долгих гудков заставили дожидаться. Потом откликнулся автоответчик.

— Я люблю тебя, — сказал ломкий юношеский голос. — Скажи мне твое имя и чем я могу тебе помочь.

Кто был этот симпатичный молодой выдумщик? Не обошелся стандартным: оставьте свое сообщение. Голоса я тоже

не узнавал. Попробовал набрать номер еще раз, с удовольствием услышал призыв снова. Надиктовывать ничего я, конечно, не стал. Перезвоню, если он не сделает этого сам, еще раз, узнаю, кто это озорничает и какое у него ко мне дело.

Вот ведь как все складывалось: одно к одному. Пусть бы в самом деле что-нибудь насчет публикации. Вовремя вмешалась бы необходимость окончательно отложить в сторону работу, ездить в редакцию, вычитывать корректуру, может быть, выслушивать замечания. А к этим вот страничкам со временем если и возвращусь, то так, чтобы просто подчистить, подправить, подшлифовать, поставить последнюю точку и дату...

Вечером я все-таки не удержался, набрал номер телефона еще раз. Глупо, но ерундовая непроясненность мешала сосредоточиться. Надо было с ней разделаться, чтобы высвободиться для какого-то самого последнего усилия. Длинные гудки, автоответчик не отзывался, и трубку никто не брал. Это, будем считать, обнадеживало: человек, значит, все-таки вернулся домой, отключил аппарат, просто не смог сам подойти.

Выждав время, я позвонил снова.

— Кого нужно? — спросил хмурый заспанный голос.

— Извините, вы мне звонили?

— А, черт. Дай же поспать!...

Я посмотрел на часы. Было всего десять вечера. Ну вот, теперь что-то случилось еще с телефоном. Черт знает что. Неправильное соединение. Замкнулись не те провода. Время от времени такое случалось, но теперь было особенно некстати. Тыкайся опять, выясняй. Или кто-то меня разыгрывал? Еще бы не хватало!..

Отчего была, однако, такая раздраженность, похожая на беспокойство? Кем бы ни оказался этот звонивший, что бы он мне ни сказал — к завершению работы это отношения иметь не могло. Повествование сложилось уже тут, на бумаге, как есть. Все. А жизнь — она будет продолжаться своим чередом, и пускай себе, ничего особенного придумывать не

надо. День за днем. Те же радости и заботы. Желание каждый день знать, что нужно делать, зачем. Нетрудно представить. Завтра утром моему Павлу Ильичу надо пойти в поликлинику, сдать анализ. В туалете уже приготовлена тщательно вымытая бутылочка. Он чистит зубы перед умывальником. Вдруг замер, остановленный неясной задумчивостью. Из тюбика выдавилась лишняя паста, ее уже не вернуть, нечего и стараться. И каждый такой миг — твоя жизнь...

Ну, и так далее. Ничего больше. На таком меланхоличном, открытом в будущее состоянии вполне позволительно и закончить. Незачем мудрить дальше. Самое удивительное откроется, когда сумеешь очнуться вдруг на ходу от мыслей, которые не позволяли по-настоящему увидеть хотя бы эту комнату, свет лампы, электрическую зелень за окном. Жена сидит за столом. Теперь у нее, кажется, пошла работа. Вот и хорошо. А мне больше и не надо... Или я какой-то малости все еще не додумал?..

...Не хочется умирать, вот что обнаружишь за всеми мыслями. Длить и длить, чтоб это никогда не кончалось. Но так же невозможно, знаешь заранее. Как невозможно женщине не родить — все равно что не осуществиться. Что здесь называть поражением, что победой? Успокоение и расслабленность. Легкий, временный переход в другой мир, с надеждой вернуться снова. Пространство заполняется снами. Ночь полнолуния, когда поднимаются, выпирают из мягкой земли, из-под хвойных иголок, проламывают даже пленку асфальта грибные легкие фаллосы. Грусть, похожая на предчувствие. Напрасно доискиваться до причин: может, просто переменилось расположение планет. Шелест листьев, бормотанье ночных трав. Всем нам предстоит через это пройти, — послышалось до странности ясно. Сонная мысль, та же невозможность справиться с простым пониманием. Слово показалось вдруг странным: пройти — куда? Подразумевалось продолжение, так, что ли? Какое еще? Только что знал, и вот надо было опять вспомнить, как это называлось...

В состояние, напоминавшее бессонницу, ворвались частые, нетерпеливые гудки, я не сразу понял, что теперь надо проснуться. Вот оно! Жена опередила меня, сама взяла трубку.

— Нет, тут преисподняя, — чертыхнулась она и ткнула трубку на место.

— Кто это? — пробормотал я.

— Спрашивали: это салон магических услуг?

Кто мог баловаться в шесть утра? Звонок был междугородний. Кому-то из Сибири или с Дальнего Востока понадобились магические услуги. Я даже не подозревал, что существуют такие салоны. Нет, видно, опять неверное соединение. Но почему же я так готов был кинуться к телефону? Все, больше к нему не подходить, надо себе дать слово. Выбросить этот звонок из головы...

С утра не удавалось ничем заняться. Раскрытая рукопись понемногу остывала на столе. Написанное становилось все более чужим. Еще немного, и ничего в этом уже не изменить, не добавить. Вещество затвердевает — потом не разомнешь.

Выдержать характер оказалось, увы, свыше моих сил. На сей раз отозвался голос женщины.

— Алло, — сказал я. — Мне передавали...

— Сережа, хватит сюда звонить, — прервал меня голос устало. — Сколько можно? Уже надоело.

Я осторожно положил трубку. За кого меня приняли? Прямо лотерея какая-то. Ну, самая последняя попытка, и действительно все.

Длинные гудки, ничего больше. Ладно, это можно не считать, последняя будет вот эта...

Что-то в телефонной сети оказалось испорчено больше, чем я думал: без всякого сигнала подключился чужой разговор.

— Он из дома ушел в двенадцать часов, в поликлинику, был записан к врачу...

О, этого еще не хватало. Со мной такое бывало не раз: подсоединялся неизвестно к кому. И положить сразу трубку,

бывало, медлил: примешивалось недозволенное любопытство, желание оказаться ненадолго соглядатаем чужой жизни. Вдруг откроется что-то необычное, удивительное? Ничего плохого я ведь им сделать не мог и не собирался, я заранее им сочувствовал, даже любил их. Тем более при этом не знал говорящих, не видел. Только сдерживал дыхание, чтобы не выдать себя... Бывало, впрочем, куда менее приятное, когда оказывалось, что и в мои разговоры вмешиваются посторонние. Как-то покойный Исаак Моисеевич Яглом, профессор математики, переживавший очередную неприятность из-за своей давней общественной активности, сказал мне по телефону: «Еврею с хорошей характеристикой трудней устроиться на работу, чем русскому с плохой». И чей-то спокойный голос в трубке отчетливо подтвердил: «Вы совершенно правы». По тем временам естественней всего была, конечно, мысль о прослушивании. Хотя сам я вряд ли кому был тогда нужен. А однажды случилось подключиться даже не к телефону — к чьей-то квартире. В трубке слышны были чьи-то шаги, голоса, то приближавшиеся, то удалявшиеся. «Куда делись мои тапочки?» — сказал голос. «Посмотри возле вешалки». И снова шаги, долгие паузы... Чья-то квартира прослушивалась, и я непонятным образом оказался к подслушиванию подключен... Да ничего особенного услышать не случалось, так, обычные житейские разговоры, вроде этого...

— ...в кармане у него был старенький кошелек, чтоб по пути зайти, что-то купить, курточку свою надел, у него такая джинсовая, кепочка тоже джинсовая, весь такой аккуратненький, а я, представляете, стою, делаю пирожки, тесто как раз такое хорошее подошло, вы же знаете, какие я умею делать пирожки...

Ну вот, пошли еще кулинарные подробности. Это был разговор из числа бесконечных. Сколько подробностей возникает в ином женском рассказе, полном уменьшительных суффиксов — как будто они позволяли побольше вместить в тот же объем. Уж эта женская сосредоточенность на мелочах! Что-то вроде любви к мелким безделушкам. Мужчины к таким вещам более безразличны, им бы смаковать подроб-

ности политических интриг, скандалы, которые значат ничуть не больше, и в искусстве их интересует грандиозное... Надо было давно положить трубку, но что-то заставляло меня задерживать ее возле уха. Неужели упоминание о джинсовой курточке? Голос не казался знакомым, не те интонации — но словно какие-то плачущие... и этот возникавший время от времени, как отклик, тоскливый скулеж собачки! Почему она ее не останавливала — и сама то ли задыхалась, то ли всхлипывала вместе с ней, но не оставляла при этом пауз для точки?..

— ...ровно был час дня, представляете? У меня почему-то вдруг все стало падать из рук, ножичек упал, ноги запутались, как-то мне стало тревожно — и тут вдруг звонок. Алина Петровна? — Да. — Это говорит старшая сестра из поликлиники. Вы можете, говорит, сейчас подойти? Я сразу как закричу: Что с Пашей? А она: Приезжайте немедленно. Вы представляете? Ну, не знаю, как я выскочила из дома, взяла машину, примчалась в поликлинику. Он ведь просто шел сдать анализ, потом надо было на прием, он был записан, у него диабет, так добавилась еще астма, но вообще ничего особенного. Захотелось, это я понимаю, заглянуть в туалет, им пользуются и больные, и персонал. Там есть холл, знаете, напротив рентгеновского кабинета, и люди, которые там сидели, дожидались, мне рассказывали, что он зашел и почему-то долго не выходил. Другим тоже понадобилось, они стали толкаться, а дверь, смотрят, закрыта. Потолкались, вызвали слесаря, дверь сломали. И так странно: курточка висит на дверной ручке, у входа. Там туалетик такой: небольшая прихожая, раковина, умывальник, сушилка для рук, дальше эта кабинка, а из кабинки, представляете, из-под двери, его ноги в кроссовочках. Приходит человек из милиции: кто первый его обнаружил?..

Я, наконец, положил трубку. Может, мне послышалось имя Паша?.. Выдерживать дальше этот навал подробностей было сверх моих сил. Можно было самому вычленять из него краткую суть случившегося. Если пересказать простыми сло-

вами: человек пошел в поликлинику, до кабинета не дошел, ему по пути понадобилось в туалет. Там его и нашли уже мертвым, голова была разбита — видимо, о край унитаза. Можно бы сказать покороче: пошел в поликлинику и там вдруг умер. А можно еще короче: жил, пошел, умер. Остальное те самые подробности. Всхлипыванья не в счет. Все человечество только и занято тем, что их прибавляет и прибавляет, ничем, по сути, не обогащаясь. И можно ли было тут что-то понять?.. Не только того, что случилось, но, рассказывая о внезапной смерти близкого человека — можно ли было так застревать на кулинарном рецепте, на обстановке больничного туалета?.. Сдвиг сознания, иначе объяснить не могу. Она словно никак не могла сделать происшедшее для самой себя достоверным, не могла себя саму ощутить, ей надо было разобрать все по мелочам, чтоб получилось, что ли, не так страшно?.. Нет, нормальным, посторонним умом не объяснить, не вообразить, если бы сам не слышал... Собачка скулила у телефона, то ли чувствуя случившееся, то ли просясь на улицу — с застывшей детской тоской в глазах. Кто ее теперь будет выводить? Женщина всегда чувствовала себя более больной, она не сомневалась, что умрет раньше, и вот оказалось, что он, гораздо более здоровый, еще совсем не старый...

Внезапная тоска, похожая на чувство вины. Почему я решил, что это о моем Павле Ильиче? Как будто, не зацепи я человека своей мыслью, он бы остался жив. Была во всем происшедшем какая-то несоединимость. При чем тут я? Ни при чем, это же было ясно...

Меня потянуло поскорей выйти во двор — надо было немедленно отменить, развеять недоразумение или наваждение, увидеть вот сейчас, сразу же, у подъезда знакомую фигуру в джинсовой куртке с черной собачкой на поводке. Выправить, восстановить все, как должно быть. Почему он непременно должен был умереть?...

Пока я сидел у телефона, уйдя полностью в чужой разговор, на улице успел, оказывается, пройти дождь. Высвободи-

лись чистые запахи, небо промылось до синевы, сияли лужи. Я оглядывался, щурясь, приспосабливаясь к неотчетливому от яркости свету. Сердце болезненно, бессмысленно колотилось.

На площадке, затененной тополями и липами, играли дети. Деревья эти были еще саженцами, когда я выводил сюда своих детей. Давно мне здесь нечего было делать. От тогдашних времен осталась лишь облупленная металлическая решетка-лестница. Девочка лет шести в очках вскарабкалась наверх и с высоты превосходства окликала мальчика, оставшегося внизу: видит ли он, как она перегибается через верхнюю перекладину? Белые штанишки на крепенькой попке были испачканы. Две девочки постарше крутили рядом веревку, третья аккуратно прыгала через нее, прижимая к бедрам руками юбку, чтоб не взметнулась. Черное, прозрачное на плечах, нарядное платье было надето, видно, не для такой забавы, она просто не удержалась, а может, захотела попутно себя показать, вмешалась в игру малявок, заставив дожидаться законную участницу. Та смотрела на нее, ковыряя средним пальцем в носу, выражение скучающей неприязни позволяло не выдавать ни зависти, ни восхищения. Но не этот взгляд интересовал обладательницу роскошного платья (на груди под ним уже обозначились прелестные выпуклости). Компания мальчишек лет десяти-тринадцати расположилась неподалеку на бревне. Преувеличенно громко они обсуждали какие-то свои обычные глупости — смеясь и гримасничая, скорей демонстрируя общий интерес, чем его испытывая. Лишь один, сидевший с краю, время от времени оборачивался в сторону прыгалок и, словно выпадая из общего гомона, завороженно смотрел на голые, в светлом пушке, ноги — выше он опущенный взгляд не поднимал. Может, ждал, не вспорхнет ли, не откроет ли чего еще край коротенького подола. Прикосновение воздуха, которое ощущаешь не кожей, а невидимыми прозрачными волосками. Взрослые пристроились на скамейках тут же, поглядывали на копошащихся малышей, отвлекаясь от чтения, спиц или разговора. Детская избушка была бессовестно оккупирована

молодой парой, бутылка на столике перед ними была уже пуста, парень опустил тяжелую голову на руки. Женщина еще держалась. У нее было красивое, без косметики, лишь слегка опухшее лицо, но даже на расстоянии можно было ощутить запах перегара и начавшей преждевременно прокисать плоти. Низкорослый, с седыми бакенбардами еврей вывел под руку прогулять свою мать. Она двигалась мелкими шажками, кренясь на бок, голова была скособочена, припадала к поддерживающему плечу. Оба остановились против избушки передохнуть. Машина, увешанная свадебными лентами и воздушными шариками, медленно въезжала во двор, разгоняя перед собой, как брызги, подростков на роликовых коньках, заставляя посторониться мужчин и женщин. Невеста в белом платье, жених, казавшийся рядом с ней мальчиком, высвободились из блестящего автомобильного чрева. Все взгляды обратились на них. Девочки подбежали поближе посмотреть в подробностях, а может, дотронуться пальцами до чего-то, что их ожидало еще впереди. (Голубок пригрелся в горсти, сложив перышки, роза расправляет лепестки на ладони). Другие могли бы им рассказать, каждый по-своему, каково будет на самом деле двум обособленным людям ощутить себя однажды единым телом, а потом, время от времени, иногда отчужденно, даже с неприязнью осознавать, насколько они все-таки разные и как странно, что они живут вместе — пока время не соединит некоторых настолько, что они покажутся себе в самом деле целым, карикатурно целым; по-настоящему это выявится, когда одного из них вдруг не станет, и надо будет представить себя отдельным... как это?.. Большая собака протащила на поводке маленькую женщину... не ту, другую. Мальчик лет пяти шел по асфальту, сосредоточенно двигал перед собой скребущий изогнутый прут. Необычайная сосредоточенность была в этом движении. Что сейчас проворачивалось в его голове? Кем он себя видел? В какой направлялся путь? Для самостоятельного ума все еще само собой разумеется, он может всему найти, придумать собственное толкование — какую невообразимую

работу он каждый день совершает? С годами это становится все труднее...

Слабо дохнул ветерок. От высокой ветки, утомясь однообразным существованием, не дождавшись осеннего срока, отделился еще зеленый лист. Он пролетал свой последний путь, трепеща, кружа, чтобы все-таки замедлить и удлинить падение. Другие проводили его слабым шелестом. Сочувствие ли было в этом шелесте, тревога ли? Просто шелест. Им еще не пришла пора, еще оставалось время подержаться на ветках, подышать, понаслаждаться влагой с небес и соками из порченой бензином земли, потолковать на своем языке о событиях...

Я вдруг поймал себя на том, что стою с идиотски полуоткрытым ртом, точно пытаюсь бессмысленным усилием соединить внутри себя что-то неподдающееся, неохватное, рассыпающееся. И все вдруг словно замерли, ощутив что-то вместе со мной и не понимая своего испуга. Фотографическая вспышка, моментальный кадр бесконечной, подвижной, необозримой жизни под сияющим влажным небом. Все это уже было с жившими и продолжающими жить, повторялось бессчетное множество раз, в разных нарядах и вариациях. Хорошо, что эти люди ничего обо мне не знают, вряд ли отметили присутствие среди них моего мозга, моих глаз. Они вряд ли меня читали и, надеюсь, никогда не прочтут. А если прочтут, не узнают на этих страницах себя. Как хотелось бы мне убедиться, что услышанное случайно было все-таки не взаправду! Испорченный телефон. Игра литературного воображения. Но если иногда умирают все-таки по-настоящему — что можно в таких случаях переделать?..

Я в задумчивости оперся рукой о ствол. Дерево брызнуло на меня остатками недавнего дождя. Медленно, превозмогая навалившуюся вдруг усталость, я зашагал к своему подъезду. Похоронный автобус нетерпеливо гудел, свадебная машина загородила тесное место, мешала ему проехать дальше во двор... Нет, мне показалось, это был другой автобус, какая-то ремонтная служба...

Что мне всегда хотелось понять? Существование мысли. Существование других людей, их мыслей и снов. Хотелось узнать, что снится младенцу, догадаться, что снится собаке, когда она во сне вздрагивает, урчит и поводит тревожно ухом. Понять, что такое время, воображение, что такое смерть.

Каменные глыбы носятся в пустоте, толкутся беспорядочные частицы, наглотавшиеся таблеток бедняги трясутся, мотают распущенными волосами, топчутся под оглушительный грохот, в котором давно уже не различить музыки. Ничего запретного не осталось, таинственное приходится сочинять. В хаосе не может быть смысла, этого не оспоришь. Но чтобы существовать в нем, не потеряться совсем уж безнадежно, не раствориться в нарастающих искусственных шумах, надо все время что-то выстраивать, перестраивать в собственном мозгу, упорядочивать снова и снова. Жизнь меняется непрерывно, из воздуха не выпрыгнешь, трудность в том, как оставаться при этом самим собой, не утерять камертона. У Мандельштама с его разночинным аристократизмом хватило достоинства и внутренней силы поблагодарить революцию за то, что она выбросила его из обжитой, понятной ячейки, положила конец духовной обеспеченности, существованию, как выразился он, на культурную ренту. Бывают времена, когда все вокруг летит кувырком. Сейчас, конечно, не революция, но все-таки. Нет прежней уверенности, что мы хоть говорить продолжаем на одном языке...

Мне иногда казалось, что нужно всего лишь найти слова. Когда томят невнятные страхи, тоска, уныние, достаточно ведь бывает сказать себе: о чем тоскуешь, чего боишься? Скажи это словами. Стоит их произнести, и почувствуешь, что все на самом деле не так уж страшно. Все поправимо, просто, все оказывается обычным делом — стоит ли горевать? Находя слова для своей тоски, человек тоску преодолевает; глядишь, твои слова помогут преодолеть ее и другим. Находя слова для своей радости, ты делаешь ее достоянием всех. Слова помогают пережить беду, радость же усиливают

и продлевают. Вот, может, служба пишущего. Что бы мы знали о своей жизни без священных писаний разных времен и народов, без длящихся из века в век усилий художников, которые обновляют наш взгляд, снимают с него поволоку повседневной привычки, открывают для нас цвет посреди серого однообразия? Мы находим свои слова для любви, потому что уже была «Песнь песней». Без оставленных нам слов мы бы только мычали. Да, наши слова не могут быть новыми, как не новы ни мысли, ни чувства. Но мы-то новые, нам приходится жить впервые, переживать впервые...

Вот, который раз кажется: открыл, наконец, что-то в себе, в мире. За недавнее понимание становится неловко. А ведь заранее можно себе сказать: с этим новым пониманием окажется то же. После всех блужданий возвратишься не более чем к себе. Время, конечно, постарается о переменах...

Взгляни в зеркало, как вернешься домой, — говорю я себе. Ты уже, мягко говоря, не первой молодости. Болезни стороной не обошли. От житейских невзгод не был избавлен. Богатства не нажил, об успехе говорить даже не стоит. Страна, в которой тебя угораздило родиться, давно и, похоже, надолго неблагополучна. И ты продолжаешь утверждать, что при всем этом можно быть восхищенным вот этой жизнью, какая она есть, только надо ее ощутить? Что с этим именно чувством просыпаешься каждое утро, засыпаешь с благодарностью за прожитое?

А, может, просто не хочется признавать до конца то, что другие назвали бы поражением? Тебе на самом деле не достает всего лишь мужественной честности? Неудача ведь бывает больше похожа на подлинную жизнь, чем многое другое... Ну, ну... Давай, давай, — усмехаюсь опять я, — пиши дальше. Может, и другим объяснишь, как совмещается несовместимое. Для чего-нибудь ты к этому месту приставлен.

Никого дома на было. Бумаги с окончательно остывшей работой лежали, разбросанные, на столе. На верхнем листе уселась муха, чистила одну о другую лапки. Сосредоточен-

ное занятие. Не хотелось ее сгонять, но она сорвалась с места сама, уступая мне поле действия.

Я взял в руку листок, попробовал что-то перечесть, но лишь скользил по поверхности, едва улавливая смысл. Вернуться в написанное больше не удавалось... Что мне еще надо было найти, какую страницу? Потерялся, что ли, этот листок?.. А, пожалуй, вот это... Да...

«Быть солидарными и сотрудничать с другими могут только одинокие люди, люди, ставшие лицом к лицу с бездной в себе»...

Тут ведь уже намечена перспектива новой работы... да, да. Напоминание о свободе, которую все еще надеешься достичь. О способности ощутить, что ты можешь еще развиваться... У, как нетерпеливо начинаешь уже бить копытом!.. А эту папку, значит, пора закрывать, так, что ли? Что мне остается еще?.. Чего я как будто еще не доделал?..

Я стал вышагивать по своей маленькой комнате, соображая: что в самом деле еще? И вспомнил-таки, наконец. Подошел к аппарату, под ним так все и лежал листок с записанным номером...

Длинные гудки ожидания. Я чувствовал, как глупо забилось опять сердце. Ничего, этого не надо было стыдиться. Значит, еще не утратил и этой способности. Еще могу, как идиот, волноваться...

Еще гудок. Еще... Что ж, ладно. Пора было положить трубку. Не подходят — пусть останется неопределенность. Лучше хоть так. Чего я еще ждал?..

Вдруг в трубке все-таки щелкнуло подключение.

— Я люблю тебя, — сказал автоответчик. — Скажи мне твое имя и чем я могу тебе помочь.

2000